

ВЛАДИМИР КУНИН



"ЭТО БЫЛО НЕДАВНО..."

ВЛАДИМИР КУНИН

*"Это было
недавно..."*

Повести и рассказы

Санкт-Петербург
Геликон Плюс
2000

ISBN 5-7559-0061-2

© В. Кунин, текст, 2000

© «Геликон Плюс», оформление, 2000

*Мой дед,
мой отец
и я сам*

Очень ранним летним утром по спящей улице вели слона.

Вел его невыспавшийся человек в картузе и кургузом пиджачишке.

Шли они медленно: слон осторожно ставил свои огромные ноги на булыжную мостовую, а человек то и дело сонно спотыкался и погромыхивал подковами высоких русских сапог.

Шли они пустынной улицей мимо полицейского участка, мимо пожарной части с колоколом и низенькой деревянной вышкой, мимо купеческих лавочек и лабазов, мимо трактира с закрытыми ставнями, мимо увеселительного заведения «С иллюзионом и танцами “Орионъ”».

Ни одна живая душа не встретила слону и его сонному поводырю. Только у белого господского дома, сидя на каменной тумбе у ворот, спал дворник. Спал, задрав бороду кверху, широко открыв рот.

Если бы мимо дворника шел только один слон, дворник никогда не проснулся бы. Но человек, который вел слона, споткнулся в очередной раз точно напротив господского дома и дворник открыл глаза.

Увидел человека в картузе и сапогах...

*Веревку, уходящую из-за спины человека
куда-то вверх...*

И наконец, увидел слона!

*Но это дворнику показалось невероятным и он
снова заснул.*

*А человек и слон подошли на перекрестке к
чугунной водопроводной колонке и остановились.
Человек снял с головы картуз, нажал на рычаг и,
когда вода полилась из крана, нагнулся и напился
воды. Он вытер рот и лицо картузом, напялил его
на голову, и даже не посмотрев на слона, просто
пошел дальше.*

А слон пошел за ним.

МОЙ ДЕД

До берега было версты полторы.

Лодка неподвижно стояла в стеклянно-спокойном море. Старая серая лодка казалась розовой, и море тоже было розовым, потому что солнце должно было вот-вот уйти за синие горы и на прощанье перекрашивало все, что видело под собой.

В лодке сидели трое: два здоровенных мускулистых парня лет двадцати-двадцати двух и двенадцатилетний мальчишка.

Все трое сидели голышом, спинами друг к другу, и каждый из них ловил ставриду на свой «самодур». То один, то другой вытаскивал «самодур» из воды, молча и деловито снимал с крючка

серебряных рыбешек, нанизывал на кукан пойманную рыбу и снова опускал его за борт.

Все трое работали слаженно и четко, видимо, уже не в первый раз, и поэтому им не было нужды разговаривать.

Мальчишка посадил очередную порцию пойманной рыбы на кукан, с трудом приподнял его и показал парням. Наверное, они решили, что рыбы достаточно, — кукан был положен на дно лодки, а парни начали аккуратно сматывать снасти.

Когда «самодуры» были намотаны на плоские дощечки, парни отдали их мальчишке. Тот, который был поздоровее, сел на весла, другой за руль, а мальчишка перебрался на нос лодки, где лежал увязанный мешок.

По розовой воде лодка поплыла к берегу.

Она плыла к синевато-серому берегу, в тень гор, оставляя за кормой короткую, искрящуюся, и тут же исчезающую дорожку.

Они вытащили лодку на берег, закрутили цепь вокруг ветхого деревянного столбика и вынули из мешка одежду.

Мальчишка натянул на себя штаны и старенькую ситцевую косовороточку.

Парни же неожиданно стали облачаться в очень элегантные костюмы по последней моде сезона тысяча девятьсот двенадцатого—тринадцатого года: узкие брюки со штрипками, манишки со стоячими воротничками, галстуки бантами, узкие, в талию, светлые сюртуки, котелки и даже тросточки! Все это было вынуто из того же дерюжного мешка, в котором еще недавно поко-

ились невероятные мальчишеские штаны и старенькая выцветшая косовороточка.

Без всякого удивления мальчишка смотрел на превращение своих приятелей в важных господ. Мало того, он даже что-то строго сказал им и показал на заходящее солнце. И «господа» стали поспешно заканчивать свой туалет.

Потом мальчишка вложил один угол мешка в другой и надел его на голову, как капюшон. Он надел его так, как это делали все черноморские грузчики.

А потом перекинул через плечо тяжелый кукан с рыбой и первым направился к городу. Два щеголя последовали за ним.

По мере того, как город приближался к ним, мальчишка все больше и больше отходил от молодых господ в сторону. Не забегал вперед, не отставал, а просто держался так, чтобы никто не мог заподозрить их в знакомстве.

Только один раз мальчишка оглянулся по сторонам, остановился и подозвал молодых людей к себе.

Они подошли. Мальчишка вынул из кармана своих необъятных штанов увесистый шмат хлеба, осторожно разломил его на три равные части и две отдал молодым господам. А свою часть спрятал в карман и тут же отошел от господ в сторонку.

Молодые господа незамедлительно слопали свой хлеб и двинулись дальше.

И опять между этими тремя странными особами не было сказано ни единого слова. Не было даже слов благодарности, что само по себе уже удивительно!

Так они дошли до городской набережной: два молодых элегантных барина, небрежно помахивающих тросточками, и метрах в десяти сбоку от господ — мальчишка с куканом ставриды.

И никто на этой прекрасной набережной не смог бы догадаться, что все трое между собой очень даже знакомы.

А набережная была действительно прекрасна! Ну может ли быть быть в приморских южных городах место более замечательное, чем набережная! Так есть, было и будет всегда. И это вполне справедливо. Так было и тогда — совсем незадолго до Первой мировой войны.

На набережной стайками стояли столики кофеен, с набережной в море глазели витрины магазинов, магазинчиков и лавчонок, на набережной знакомились и заключали сделки, острили и ухаживали за женщинами, мужчины демонстрировали новые крои жилетов — «всемирно известный парижский портной Луи Гершкович. Для господ офицеров семь процентов скидка», женщины кокетничали и дурно французили с очаровательным южно-русским акцентом.

Томные местные красавцы с удивительным достоинством топорщили усики, а приехавшие «на воды» москвичи и петербуржцы сонно и слегка небрежно, что вполне извинительно на юге, раскланивались со знакомыми.

Набережная перешептывалась, сплетничала и с нагловатым весельем смотрела вослед чуть ли не каждой смазливой бабенке.

У мангала с шашлыками молодой человек в лихом канотье обучал двух своих приятельниц зубами снимать кусочки горячего мяса с шампуров. И так как дамы с удовольствием делали все не так, как им показывал молодой человек, — всем троим было очень смешно. И молодой человек, и его дамы, отчаянно веселясь, все время поглядывали на гуляющих — с кем-то здоровались, кому-то помахивали ручкой, а кому-то даже и подмигивали. Это была «их» набережная и тех, с кем они здоровались.

Вдруг молодой человек засуетился, торопливо вытер платочком рот, перехватил шампур с шашлыком в левую руку и, держа его двумя пальцами — большим и указательным, словно дирижерскую палочку, правой рукой почтительно приподнял соломенное канотье.

— Мосье Жорж! Бонжур, мосье!

Молодой человек в восторге от того, что увидел какого-то мосье Жоржа дернулся и, взмахнув ручками, сделал этакое «антраша».

Застыли перепачканные мордашки двух дам. Они удивленно посмотрели на своего кавалера, а потом улыбнулись тому, с кем он здоровался.

А раскланивался их кавалер со знакомыми уже нам двумя молодыми щеголями, которые еще совсем недавно голыми ловили с лодки ставриду на «самодур».

Щеголи остановились.

В сторонке остановился и мальчишка с рыбой.

Тот, который был поменьше, смотрел на шашлык, пляшущий в руке у молодого человека, а его приятель, элегантный верзила, принюхался и откровенно проглотил слюну.

— Коман са ва? — великосветски спросил молодой человек, исчерпав половину своих познаний во французском языке.

Щеголь медленно перевел взгляд с шашлыка на лицо молодого человека, приподнял котелок, вежливо поклонился дамам и ответил:

— Са ва бьен.

Он еще раз поклонился и, взмахнув палочкой, собрался было продолжить свой путь, но молодой человек сделал к нему движение и, показывая на десятки шампуров, лежащих на мангале, сказал:

— Силь ву пле, мосье Жорж, силь ву пле, мосье Антуан! Как говорят у нас в России, не откажите составить компанию... Эх, забыл я как это по-вашему!

Мальчишка напряженно смотрел на своих приятелей из-за угла греческой кофейни.

Верзила снова проглотил слюну. Щеголь приподнял котелок и, благодарно улыбаясь, развел руками — дескать, с удовольствием бы, но... Тут уж и верзила поклонился. Оба они незаметно для всех глазами поискали мальчишку с рыбой и смешались с толпой гуляющих.

Мальчишка, ухмыляясь, посмотрел на молодого человека с шашлыками и, презрительно

цыкнув сквозь редкие зубы, побежал за своими приятелями.

— Кто это? — спросила одна из дам, ловко стягивая зубами мясо с шампура.

— Это знаменитейшие французские циркачи, воздушные гимнасты Антуан и Жорж! — ответил молодой человек.

— Хочу в цирк! Хочу в цирк! Хочу посмотреть на французикув! — капризно надувая губки, затараторила вторая дама.

Их кавалер набил рот шашлыком, и с трудом, но очень галантно произнес:

— Мадам! Желание женщины — закон для джентельмена!

Теперь Антуан и Жорж шли у самой воды, а в стороне от них плелся мальчишка с рыбой.

— Васька, — сказал Антуан Жоржу. — Так больше жить нельзя. У меня голова с голодухи кружится.

— Ну потерпи еще немного, — ответил Жорж. — Потерпи, Феденька. Нажарят нам сейчас ставридки...

— Каждый день ставридка, ставридка, ставридка! — зло проговорил верзила Федя. — До каких пор?

— А я тебе сколько раз говорил, давай сорвемся из этого цирка к чертовой матери! — сказал Вася и негромко свистнул.

Мальчишка вопросительно посмотрел на него.

Вася сделал какой-то жест руками, понятный только одному мальчишке, и мальчишка умчался, размахивая куканом с рыбой.

— Куда ты сорвешься? Куда ты сорвешься? Ни денег, ни ангажемента... Трапеции, и те хозяйские! Попасть бы к Саламонскому, к Никитину, к Чинизелли. Показать бы им нашу работу, найти бы себе хорошего хозяина...

Вася нагнулся, поднял плоский голыш и с силой пустил его по воде «блинчиками».

— А нельзя ли вообще без хозяина? — спросил он, глядя как камень скачет по воде.

— Это как же? — испугался Федя.

— А очень просто, — ответил Вася и бросил второй голыш.

— А жить как же?

— Товарищество организовать, — задумчиво произнес Вася и пустил по воде третий голыш. — И начать жить по-новому...

— Какое товарищество? — спросил Федя. — Цирковое?

— Ну, мы с тобой цирковое, а другие — общее. Российское.

— Кто это такие «другие»? — подозрительно спросил Федя.

— Есть люди, — коротко ответил Вася.

— Знаю я этих людей, — зло сказал Федя. — Это те люди, к которым ты в Тамбове по ночам на сходки бегал, а мне врал, что на randevу к барышне Кошкиной собираешься. Я, если хочешь, все про тебя понимаю! Я не дурак какой-нибудь! Ты лучше придумай, как у нашего хозяина хоть пятерочку выманить!

— Нет. Надо, чтобы эта сволочь отдала все наши деньги, которые мы заработали за последние полтора месяца! — решительно возразил Вася. — Часть на дорогу пойдет, а на остальные... Нам бы только до Тамбова добраться!

В глубине набережной стоял богатый провинциальный цирк. Он светился огнями и вход его, украшенный яркими и наивными афишами, был уже забит публикой, которая вливалась в три настежь открытые двери.

Афишы были прекрасны:

«Стой, прохожий! Один ты или с дамой, остановись перед рекламой, читай, не ленись, сегодня — бенефис!»

«Сегодня, в субботу, 18 июля 1913 года — граф Люксембург в волнах страстей! Дуэты из опереток!»

«В последний раз! Опасный жокейский трюк!»

«Чудо воздуха! Шедевр полетов! С новыми трюками исполняют г.г. Жорж и Антуан — Париж»

Такие же замечательные афиши украшали стены кабинета хозяина цирка. Здесь все было плюшевое и золотое. Висели гравюры из лошадиной жизни, у двери стоял манекен, одетый во фрак, и у резной ножки манекена — лакированные башмаки с «ушками». А рядом в углу — «шамбарьеры» и стэки разных сортов.

За столом сидел удивительно симпатичный, дородный господин лет сорока пяти и, мечтательно подняв к потолку глаза, ласково улыбаясь, изредка шевелил губами, будто повторял про себя чьи-то прекрасные строки.

Однако, если бы мы посмотрим на стол, то увидили бы руки господина. Господина директора цирка.

Его руки, вернее, пальцы — длинные, красивые с фантастической быстротой пересчитывали деньги. Пересчитывали так, как это мог сделать только профессиональный банковский кассир с тридцатилетним стажем.

Раздался стук в дверь. Хозяин цирка мгновенно сдернул с головы турецкую феску и прикрыл ею пачку денег. А затем, не изменяя выражения лица, повернулся и пророкотал:

— Антрэ!

В дверь просунулась чья-то испуганная уса-тая морда и прохрипела:

— Сергей Прокофьевич! К вам господин городской голова и господин полицмейстер идут-с!

— Очень мило с их стороны, — улыбнулся хозяин цирка и щелкнул пальцами.

Морда исчезла. Хозяин цирка приподнял феску, не торопясь снял с пачки несколько крупных бумажек и положил их в правый карман шелкового стеганого халата с кистями, а потом снял с пачки еще несколько бумажек и положил их в левый карман. Оставшуюся пачку он спрятал в ящик письменного стола и замкнул на ключ.

А феску снова надел на голову. И в эту секунду открылась дверь и в кабинет вошли городской голова и полицмейстер.

— Очень мило с вашей стороны, ваше превосходительство! И с вашей, ваше превосходительство! — хозяин цирка широко раскинул руки, встал навстречу важным гостям. — Прошу покорнейше, прошу покорнейше...

К «черной», служебной двери цирка подходили Васька-Жорж и Антуан-Федя.

Слышно было, как оркестр настраивал свои инструменты.

На почтительном расстоянии от входа слонялись мальчишки, стараясь хоть краешком глаза проникнуть за таинственную дверь.

— Здрасьте, дяденька Жорж! — крикнули мальчишки.

— Привет, — ответил Вася и внимательно взгляделся в стайку мальчишек.

— Здеся я, здеся, — негромко проговорил мальчишеский голос за из спинами.

Вася и Федя обернулись и увидели своего приятеля. Он стоял у самой двери, в тени, и будто бы безразлично смотрел в сторону.

— Рыба пожарена хлеба я не достал куды ее девать? — спросил он без запятых.

— Подожди нас после представления на берегу. Там и поужинаем, — сказал Федя.

Мальчишка кивнул и повернулся к Васе.

— Проведите, дяденька Жорж.

Вася изобразил удивление и спросил:

— Куда?

— Не смешите меня, дяденька. Или вы не знаете!

— В цирк, что ли?

— А то вы не знаете!

— Ты же раз двадцать смотрел, — сказал Федя.

— Мне опять смерть как охота!

— Я пойду, — сказал Федя Васе. — Может быть, успею до представления у него хоть несколько рублей попросить.

Вася посмотрел на Федю, на мальчишку, и снова на Федю. Казалось, что в голове у него сейчас рождается какой-то план.

— Иди, — сказал он Феде. — Я мигом...

Федя ушел за кулисы, а Вася взял мальчишку за шиворот и отвел его в сторону. Приятели завистливо смотрели им вслед.

— Я вам завтра ставридки — мильен наловлю! А хотите во-от такенного краба? — и мальчишка развел руками на добрый метр.

— Да заткнись ты! Не нужен мне твой краб. Ты язык за зубами держать умеешь?

— Могила! — мрачно и твердо проговорил мальчишка.

— Ну так слушай, «могила»... Ты лошадь сможешь достать?

В кабинете хозяина шел приятный разговор.

— Ах, господа, артисты — это дети, — говорил хозяин, мягко улыбаясь и приветствуя го-

стей рюмочкой коньяка. — Милые, неразумные, требующие постоянного внимания и заботы. Каждый из них сохранил ребячью душу и, что иногда прискорбно, младенческое отношение к миру. Клянусь вам, господа, я несу этот крест исключительно из любви к искусству!

В дверь просунулась усатая морда.

— Сергей Прокофьич! На один моментик-с... — сладко прохрипела морда.

— Прошу прощения, господа, — улыбнулся хозяин цирка и вышел из кабинета.

В коридоре усатый громила одной рукой прижимал к стенке Федю и шептал хозяину:

— Скандал грозитя устроить, гнида этакая!..

— Сергей Прокофьевич, ну хоть часть денег-то отдайте! Хоть сколько-нибудь! Мы же с Васькой с голодудохнем!

— Тих-хо! — усатый поднес огромный кулак к носу Феде.

— Он правильно говорит «тихо», — ласково сказал хозяин. — Тихо. До конца сезона — ни копейки. Вон отсюда!

Хозяин цирка вернулся в кабинет, сел, как ни в чем ни бывало в кресло, и продолжил свой монолог:

— Поверьте мне, что сегодня управлять цирком с пользой для народа и просвещением для умов может только человек, обладающий мудростью Талейрана и нежным сердцем многодетной матери...

Их превосходительства молча выразили свое восхищение хозяину цирка, а одно из превосходительств правой рукой приподнял рюмку, левой же умильно приложил платок к глазам.

А потом их превосходительства сидели в ложе со своими чадами и домочадцами, аплодировали первому номеру — гротеск-наездникам на двух толстозадых битюгах, и все время незаметно, стараясь не привлечь внимания друг друга, пытались хоть краем глаза, хоть наощупь, определить количество денег, врученных каждому хозяином цирка.

Хозяин во фраке, с бутоньеркой в петлице стоял посреди арены с длинным шамбарьером в руке и улыбался их превосходительствам и всей почтенной публике.

Вася и Федя переодевались в крохотной гордеробной. Они натягивали трико с блестками, а вещи, снятые с себя, увязывали в свертки.

Федя достал моток шпагата. Он уже собирался перевязать узел, как Вася решительно отобрал у него моток и засунул его за вырез трико.

— Перетяни чем-нибудь другим, — сказал он Феде. — Шпагат может еще понадобится.

А с манежа доносилась цирковая музыка, шум и аплодисменты.

— Пропадем, Васька, пропадем...

— Держи хвост морковкой!

Слышен был визг рыжего и хохот зала.

— Ты здесь? — спросил Вася в маленькое окошко.

— Интересно, где же мне быть? — обиженно ответил мальчишеский голос.

Вася поднял два свертка с афишами, обувью и «цивильными» костюмами и стал просовывать их в окошко.

Тоненькие мальчишеские руки приняли вещи и снова протянулись в окно.

— Давайте!

— Все.

— Все? — руки мальчишки легли на нижний край окна и презрительно забарабанили пальцами. — И это весь багаж? Вы меня уморите!

И мальчишка захихикал под окном.

— Антуан и Жорж! Антуан и Жорж! Приготовиться к выходу! — слышалось из-за двери.

Вася метнулся к окну и быстро спросил:

— Ты достал? То, что я просил, достал?

Руки мальчишки снова ухватились за нижний край окошка, он подтянулся и в окне показалась его голова.

— Слушайте, дяденька Жорж, — сказал он сдавленным от напряжения голосом. — Вы меня удивляете! Что я, нанялся здесь зря сидеть?

На арене рыжий ездил на свинье, пел куплеты про тещу и очень веселил...

... знакомого нам молодого человека в соломенном канотье и его двух дам, тоже знакомых нам по приморской набережной.

— А когда будут французики? — обиженно надувая хорошенькие губки спрашивала одна из дам и кокетливо била щеголя веером по руке.

— Мон шерочка! — мгновенно прерывая хохот, томно отвечал кавалер. — Вы заставляете меня страдать! М-м-м!.. Боготворю вас!

Он прижимался губами к локтю своей дамы, незаметно поглаживал колено другой, которая молча и тупо набивала рот шоколадными конфетами.

— Когда будут французики?! — капризничала первая.

Со стороны кулис «французики» уже стояли у занавеса и ждали своего выхода.

Около них топтались двое громил — усатая морда и морда без усов — телохранители хозяина. Кроме всего, «морды» открывали занавес перед выпуском артистов на арену.

— Ежели что себе позволите... — сказал один Феде.

— Голову оторвем! — сказал другой Васе.

Слегка раздвинулся занавес и между «мордами» показалось ласковое, доброе и улыбающееся лицо хозяина цирка.

— Готовы? — мягко спросил он Васю и Федю.

Вася кивнул головой.

Хозяин скрылся за занавесом и тут же раздался его красивый голос:

— Чудо воздуха! Шедевр полетов! Всемирно известные воздушные гимнасты из Паижа — Жорж и Антуан!

Оркестрик грянул положенную музыку, морды распахнули занавес и «всемирно известные» вышли на арену.

Проходя мимо хозяина, они слегка поклонились ему, и хозяин сделал благодушный круглый приглашающий жест рукой.

Из-под купола уже свисали две веревочные лестницы. Вася и Федя вышли на середину арены и, улыбаясь, поклонились зрителям. Зрители зааплодировали.

Вася и Федя взялись за свои лестницы и быстро полезли наверх.

Они так красиво и ловко поднимались к куполу, что зрители продолжали аплодировать. И под аплодисменты, не прекращая движения, Вася сказал Феде:

— Все помнишь?

— Все...

— Левое слуховое окно. Не перепутай!

— Пропадем, Васька...

— Держи хвост морковкой!

Пятнадцать метров высоты. Узенькая дощечка — «мостик».

На этот мостик встал Вася. Напротив него в нескольких метрах — «ловиторка». В нее сел Федя и сразу стал раскачиваться.

Вася натер руки магнезией, взялся за трапецию и прыгнул с мостика. Вевочные лестницы униформисты оттянули ко второму ярусу. Вася раскачивался на трапеции. Уже висел вниз головой в «ловиторке» Федя.

Внизу соломенное канотье поглаживает колена дамы, переначканной в шоколадке, и стра-

стно пожимает руку второй своей приятельницы. Все трое смотрят вверх, следя за раскачивающимися гимнастами.

— Алле... — негромко говорит Вася.

— Ап! — командует Федя.

И Вася перелетает с трапеции в руки Феди.

— Ах! — вскрикивают дамы и цирк раздражается аплодисментами.

Трюк следует за трюком, сальто-мортале за сальтомортале...

Все задрали головы к куполу, на «всемирно известных Жоржа и Антуана», и только их превосходительства, отделенные друг от друга собственными женами и детьми, получили, наконец, возможность пересчитать деньги, лежащие у них в карманах.

Одно превосходительство приятно удивлен суммой и, не в силах сдержать себя, бормочет:

— Великолепно! — и начинает аплодировать.

Другому превосходительству кажется, что денег могло быть и больше, и поэтому кисло соглашается:

— Ничего, — и дважды вяло хлопает в ладоши.

Усевшись в «ловиторке», Федя тоже делает «комплимент» публике.

У занавеса стоит «рыжий». Он единственный из артистов труппы, которому разрешено находиться на манеже во время исполнения чужого номера.

Вася улыбается публике и глазами показывает Феде на левое слуховое окно в куполе. Оно

находится как раз на уровне мостика, ловиторки и трапеции.

Под куполом жарко. Окно открыто для притока свежего воздуха и в него видна южная черносиняя ночь, усыпанная звездами.

Федя раскачивается в ловиторке, Вася на трапеции. Оба они не открывают глаз от окна. Оно то приближается к ним почти вплотную, то удаляется.

— Алле! — командует Вася.

Теперь они смотрят только друг на друга.

— Ап! — кричит Федя.

Вася отрывается от трапеции, делает два с половиной сальто-мортале, и Федя ловит его за ноги.

— Может быть не стоит, Васька? — задыхаясь от напряжения, шепчет Федя. — Может, потерпим, а?

— Швунгуй меня на курбет! Я тебя плохо слышу, — вися вниз головой, хрипит Вася.

На каче вперед Федя резко перебрасывает Васю и ловит его за кисти рук. Теперь их лица почти рядом.

Качается под ними арена...

Качаются под ними зрители...

Тревожно смотрит на них невеселый, измотанный «рыжий».

— Возьми себя в руки! — говорит Вася. — Алле!

И перелетает на трапецию, а с трапеции на мостик.

— Да, не могут у нас так, не могут! Не дано нашему мужику такое. Не дано! — сокрушенно

говорит приличный господин своему соседу — пьяноватому офицеру.

Офицер осоловело смотрит наверх, поднимает воображаемое ружье и целится в раскачивающегося Васю.

— Жаканом его... В лет... И — нету.

Приличный господин добродушно замечает:

— Ну кто же в лет бьет жаканом? Бекасинчиком. От силы четвертым, пятым номером. И кучность хорошая, а по такому расстоянию и сила убойная достаточная... А вы — «жаканом»!

— Внимание! — провозгласил хозяин цирка и поправил бутоньерку в петлице.

Цирк замер. Оркестрик смолк.

— Атансион! — повторил хозяин специально для «Жоржа» и «Антуана».

Вася поклонился. Дескать — «понял вас».

— Рекордное достижение! Гранд-пассаж из-под купола цирка! Единственные исполнители в мире Жорж и Антуан!

По тросам, удерживающим мостик, Вася забрался на «штамберт» — металлическую перекладину под самым куполом.

— Тишина! — крикнул хозяин цирка и повторил для «французов». — Сильянс!

Тихой тревожной дробью раскатился в оркестре барабан.

И тогда Вася, стоя под самым куполом, вдруг произнес:

— Господа!

У хозяина цирка от удивления сам по себе открылся рот.

Испуганно уставились вверх униформисты.

Прекратила жевать шоколадные конфеты одна из дам нашего знакомого. А другая удивленно посмотрела на своего обожателя.

— Господа! — повторил Вася.

Цирк был поражен.

«Рыжий» вскочил с барьера.

На какую-то секунду в оркестре сбился барабан, начал дробь снова и все никак не мог от волнения войти в нужный ритм.

Под его захлебывающиеся нервные удары Вася сказал:

— Господа! Вот уже полтора месяца мы работаем в этом цирке, а хозяин до сих пор не выплатил нам ни копейки...

«Рыжий» ахнул и вдруг одиноко заплодировал. На мгновение занавес за ним распахнулся и четыре громадные руки втянули «рыжего» за кулисы.

— Мы голодаем. Мы работаем из последних сил. Я не знаю, слышат ли меня первые ряды и ложи — мы слишком далеки друг от друга...

Вася улыбнулся первым рядам и даже слегка поклонился. Потом посмотрел на галерку и последние ряды и продолжил:

— ... но вы, сидящие почти на одном уровне со мной, должны меня слышать!

Последние ряды и галерка были забиты мастеровыми, прислугой, солдатами и рыбаками.

— Я прошу хозяина здесь, в вашем присутствии, выплатить заработанные нами деньги, — обратился Вася к галерке.

Галерка закричала, затопала и засвистела:

— Деньги!

— Плати людям!

— Несите деньги!

— Заплатит французам!

— Давай расчет!

Его превосходительство господин полицеймейстер уже отдавал какие-то распоряжения, а его превосходительство городской голова стучал кулачком по барьеру ложи и что-то кричал.

Капризная дамочка обиженно сказала своему кавалеру:

— Вы могли бы сегодня меня ему представить — он очень недурно говорит по-русски. Вы злой и нехороший ревнивец, вы это знали и поэтому...

— Ничего я не знал! Я его вообще не знаю! — истерически рывкнул ее кавалер и испуганно покосился на пробегающего мимо него городского.

Пьяный офицер говорил своему соседу — приличному господину:

— Жаканом его... Из обоих стволов. Бац! И нету.

Хозяин цирка метался по арене, стараясь успокоить публику.

— Господа! Милостивые государи! Я прошу господина Жоржа спуститься на арену и получить жалованье!

Телохранители хозяина вышли из-за кулис и в ожидании остановились за униформистами.

— Пусть господин Жорж спустится! — еще раз крикнул хозяин и цирк затих.

— Подать лестницы! — негромко приказал хозяин.

Усатая морда и морда без усов мигом взлетели на второй этаж, отвязали лестницы и спустились с ними на арену.

Наверху, под куполом, Вася и Федя, как по команде, сняли лестницы с крючков.

— Ап! — сказал Федя и лестницы полетели вниз на головы громил.

— Мне не хотелось бы прерывать номер, — сказал Вася.

Он вынул моточек шпагата из-за выреза трико и спустил один конец на арену.

— Привяжите деньги, и я подниму их. Так спокойнее...

Хозяин насмешливо посмотрел на валяющиеся веревочные лестницы и, улыбаясь публике, негромко сказал усатой морде:

— Полные идиоты! Теперь они никуда не денутся.

Он был очень умен и находчив — этот хозяин цирка. Он сделал вид, что ему нравится шутка. Он вынул из кармана деньги, отсчитал нужную сумму и почти весело привязал деньги к шпагату. Он улыбнулся и поклонился публике:

— Вуаля!

А усатой морде тихо сказал:

— За кулисы. Ждать!

Вася поднял деньги наверх, отвязал их и пересчитал:

— Не хватает пятнадцати рублей, — сказал он и спрятал деньги за пазуху.

Цирк зашумел было, но хозяин поднял руку.

— Господа! У нас тоже существует система штрафов.

Чей-то одинокий девичий голос с галерки охнул и сказал на весь притихший цирк:

— Ну то же самое! Что у них, то у нас!

И цирк захохотал.

Верхние ряды и галерка хохотали и аплодировали этой девчонке, а внизу стояла гробовая тишина. Но галерке было на это наплевать. Цирк круглый, и верхние ряды амфитеатра всегда вмещают гораздо больше народа, чем нижние. Не говоря уже о галерке.

— Итак, — сказал Вася, — как объявил господин директор цирка: гранд-пассаж.

Барабанщик в оркестре, наконец, справился с ритмом.

Все сильнее и сильнее раскачивался в ловиторке Федя.

Из всех четырех проходов смотрели наверх артисты программы: в гриме, в халатах, в костюмах с блестками.

— Внимание! — строго сказал Вася.

— Есть внимание! — ответил ему Федя.

Барабанная дробь слилась в единый тревожный гул.

— Алле!

— Ап!

Оттолкнувшись ногами от штамберта, Вася прыгнул вперед — вниз и полетел навстречу фединым рукам.

— Есть! — крикнул Федя и поймал партнера.

Оркестр гремел марш, а цирк вопил от восхищения.

— Заплатил, сволочь! — счастливо хохотал Вася.

— Тише ты, социалист хренов! — прохрипел Федя. — Уроню ведь...

— Ни в коем случае! Швунгуй меня сильнее и сам за мной!

— Понял! Пошел!

На каче вперед Федя выпустил Васю, и тот перелетел прямо к открытому в куполе слуховому окну. Федя мгновенно сел, затем вспрыгнул ногами на ловиторку и на следующем каче тоже перепрыгнул в проем окна.

И тут хозяин цирка, уже не заботясь о впечатлении, которое он произведет на почтеннейшую публику, завизжал от злости на весь манеж.

— Ушли! Упустили! Упустили!!!

За цирком был темный пустырь.

На этом пустыре по кругу испанским шагом ходила цирковая лошадь, с нерасседленным панно и султаном на голове. Через шею лошади были перекинута свертки с вещами Васи и Феде, а на ее широченной спине сидел мальчишка и, видимо, уже в сотый раз говорил:

— Ты что, сдурела, животина проклятая? Шоб ты сказала! Шоб у тебя повылазило! Нашла время для танцев... А ну, кому я говорю! Шансонетка чертова, певичка!

Мальчишка ругал лошадь и с тоской вглядывался в темный купол цирка. Оттуда неслись хохот, крики, аплодисменты.

Потом что-то затрещало, послышались два глухих удара об землю, и мальчишка увидел бегущих у нему Васю и Федю.

— И где вы ходите, дяинька Жорж? — недовольно спросил мальчишка. — А если бы зима? Я же заоченел бы...

Вася и Федя увидели лошадь и остановились, как вкопанные.

— Хозяйская, — простонал Федя.

— Где ты ее взял?! — рывкнул Вася.

Но мальчишка невозмутимо ответил:

— Сидайте, сидайте, а то и этой скоро хватятся.

— А, черт! — Вася вспрыгнул на спину лошади и крикнул Феде. — Алле!

Федя сел сзади Васи и спросил у мальчишки:

— Вещи здесь?

— Аптека, — ответил мальчишка и вонзил свои пятки в лошадиные бока.

Лошадь поскакала по кругу коротким цирковым курп-галопом.

— Вы меня простите, дяинька Жорж, — крикнул мальчишка. — Но это же не лошадь, а просто адиётка! Мало она мне без вас крови попортила!

Вася подхватил поводья и направил лошадь в темноту.

Так они втроем скакали, скакали, пока городок со своей набережной, лавками, кофейнями и цирком не остался далеко позади.

Когда же лунная дорога пошла у самого моря, они пустили лошадь шагом и ехали на ней, освещенные голубым ночным светом — странные причудливые фигуры в голубых трико. И маленький оборванный голубой мальчишка.

Их везла странная голубая лошадь с султаном на голове. Она устало отфыркивала голубую пену и только время от времени вдруг сбивалась и начинала идти испанским шагом. И это было очень красиво — луна, пыль, дорога, море и немножко нелепый испанский шаг усталой лошади.

Потом они стояли у какого-то рыбацкого причала. Уже вставало солнце. Не было трико и блессток. Были те костюмы, в которых мы увидели «Жоржа» и «Антуана» вчера на набережной. Только лошадь и мальчишка оставались в том же виде, что и ночью.

— А с вами мне никак нельзя? — без всякой надежды спросил мальчишка.

— Спасибо тебе, — ответил ему Вася. — Ты нам очень помог.

— Жаль, что мне с вами нельзя... — понял мальчишка, — но вы не горюйте, если бы мне можно было с вами, ведь вы бы меня взяли, правда?

— Правда.

— Ну, я пошел? — спросил мальчишка и не двинулся с места.

— Иди. Ты тоже не горюй. Держи хвост морковкой...!

Мальчишка улыбнулся, взял коня под уздцы и пошел в ту сторону, откуда они втроем скакали всю ночь.

Федя мрачно и грустно смотрел вслед мальчишке. Глаза его были наполнены слезами — так ему было жалко этого мальчишку.

Двое сильных, здоровых парней стояли с непокрытыми головами, держали в руках по тонкому узелку, и с нескрываемой печалью смотрели в удаляющуюся худенькую спину своего случайного маленького партнера.

А потом Федя надел котелок на голову и тронул Васю за плечо:

— Алле!

Вася вздохнул, повернулся к Феде и, глядя ему прямо в глаза, сказал:

— Если когда-нибудь у меня будет сын...

Ранним—ранним летним утром по спящей улице вели очень похожий на слона аэростат заграждения. Или, как называли его тогда — «колбаса».

Толстый серый аэростат заграждения вели за веревки четыре солдата войск ПВО.

Измученные бессонницей солдаты шли посреди улицы медленно, изредка погромыхивая подковами сапог по мостовой. А слоноподобная «колбаса» тихо плыла между ними.

Она плыла мимо заклеенных бумажными крестами окон домов, мимо закрытого кинотеатра

«Прогресс», мимо выставленных в витринах магазинов «окон ТАСС», мимо сельскохозяйственного техникума, мимо каких-то военных приказов, наклеенных прямо на стены домов. Ни одна живая душа не встретила четверым солдатам и аэростату заграждения.

Только у калитки в низеньком заборчике, из-за которого торчали несколько стволов зенитных орудий, стоял усталый мальчишка лет семнадцати в военной форме, с автоматом через плечо.

Он внимательно посмотрел на плывущую мимо него «колбасу» и зевнул, стыдливо прикрыв рот рукой.

А солдаты довели аэростат до перекрестка и остановились около чугунной водопроводной колонки.

Один, тот, который шел впереди, снял пилотку, нажал на рычаг и, когда вода полилась из крана, нагнулся и напился воды.

Он вытер рот и лицо пилоткой, надел ее на голову, и все четверо снова двинулись по спящей улице. А между ними плыл аэростат заграждения — удивительно похожий на большого серого слона.

МОЙ ОТЕЦ

По весенней фронтовой дороге ехал грузовичок с фургоном.

Это была одна из тех чистеньких, обсаженных тополями, коротких немецких дорог, кото-

рые покрывали добротной и точной сетью всю Германию, соединяли между собой близко стоящие городишки со звонкими названиями.

Но сейчас дорога была искалечена волной стремительных жестоких боев. Сейчас это была истинно фронтовая дорога сорок пятого года.

За рулем грузовика сидел белобрысый сержант лет двадцати двух. Как две капли воды он был похож на «всемирно известного воздушного гимнаста» Васю, с которым мы только что расстались на утренней пыльной прибрежной тропе одна тысяча девятьсот тринадцатого года.

«Больше всех я знаю песен,
Лучше всех даю я пар.
Я собою интересен —
И не стар.
И не стар...»

— пел сержант и внимательно поглядывал по сторонам.

«Каждой девушке известен —
Кочегар,
Кочегар.»

Сержант мельком глянул на себя в зеркальце и придвинул поближе автомат, лежавший на сиденьи.

Наверное, белобрысый сержант больше ни одного куплета из этой песни не знал, так как объезжая воронку от снаряда, он продолжал

насвистывать этот популярный мотивчик из довоенного фильма «Аринка».

А из-за придорожного ельника за ним следили немцы. Немцы весны сорок пятого года, оторванные от своих частей, одетые в истрепанную форму разных родов войск.

Такие разрозненные отряды то и дело случайно оказывались тогда в наших, еще не укрепленных тылах. Несколько оборванных, изможденных офицеров следили за движущимся фургоном.

— Продовольствие... — сказал один и сделал движение вперед.

Второй, наверное, старший по званию, внимательно взгляделся в то, как подпрыгивая и переваливаясь на воронках, бежит машина, сказал:

— Она пустая. В ней ничего нет.

— Что же делать? — сказал первый. — Еще сутки и мы просто не сможем сдвинуться с места.

— Подождем немного, — сказал второй.

Через некоторое время сержант въехал в расположение своего полка.

Он подогнал фургон к штабу, вылез из машины и несколько раз присел, разминая затекшие ноги.

Затем снова встал на подножку кабины, вытащил из-за сидения котелок с ложкой и выпрямился. Посмотрел в одну сторону, в другую,

убедился, что вокруг никого нет, никто его не видит, и...

... держа в одной руке ложку, а в другой — котелок, вдруг взял и сделал прямо с подножки своей машины боковое «арабское» сальто и опустился на землю. И пошел. Будто ничегошеньки не произошло, будто никакого сальто и не было, будто никто с подножки ЗИСа в воздухе и не переворачивался.

А шел он прямо к кухне. По дороге он кокетливо вставил ложку в карман гимнастерки и пошелкивал по ней пальцами, словно расправлял примятую хризантему в петлице чего-то очень штатского.

Был апрель сорок пятого. Было тепло и сухо.

В кирхе заканчивался концерт артистов фронтовой бригады. Из высоких готических окон, похожих на бойницы, неслась заключительная песня.

Сержант протиснулся к кирхе, прокладывая себе путь котелком.

«Кончаем программу мы песней знакомой,
Ее от души на прощанье поем мы.
Так будьте здоровы! Покончив с врагами,
Победу мы вместе отпразнуем с вами.
Так будьте здоровы! Желаем вам счастья!
А мы уезжаем в соседние части.»

Спели артисты последний куплет и полк бешено заплодировал.

— Хороший концерт был? — спросил сержант у стоявшего рядом солдата.

Солдат поднял большой палец и ответил:

— Во, концертик! Так давали! Умрешь!

Все повалили из кирхи. Поток подхватил сержанта и солдата и выплеснул их на весеннее солнце.

— Акробаты были? — спросил сержант.

— Нет, — ответил солдат. — Только пели и представляли. Но я тебе скажу, как пели! Умрешь!

— Ясно, — сказал сержант и пошел на кухню.

— Гутен морген, гутен таг! — сказал сержант повару. — Расход оставили?

— А как же? — ответил повар. — Что ж мы — совсем бездушные? Давай котелок.

Сержант протянул повару котелок и устало присел на ящик из-под американских консервов.

Повар оглянулся и негромко спросил сержанта:

— Шнапс тринкать будешь? Я тут у одной фрау такой шнапсик за сгущенку выменял!

Сержант на секунду задумался и ответил:

— Да нет. Спасибо. Мне еще в дивизию ехать.

Повар навалил сержанту полный котелок каши с мясом и сказал:

— Не хочешь, как хочешь — ходи голодный!

И повар оглушительно захохотал. Правда, он тут же оборвал хохот, подмигнул сержанту, сказал:

— Вась, а Вась... Я чего спросить тебя хотел...

— Валяй, — ответил сержант, запихивая в рот ложку с изрядной порцией каши.

Повар зыркнул глазами по сторонам, понизил голос и как «свой-своего» спросил:

— Васька, это верно писаря болтают, что ты раньше в цирке работал?

Рот у сержанта был набит кашей и поэтому он не смог сразу ответить повару. А когда, наконец, проглотил, то посмотрел на повара честными, прямо-таки святыми глазами и сказал:

— Врут, черти. Делать нечего, вот они со скуки и врут.

И сержант снова запихнул огромную ложку каши в рот.

Окруженные офицерами артисты выходили из кирхи. Вокруг стояли солдаты и разглядывали артистов так, как всегда разглядывают артистов.

Четверо мужчин и шесть женщин в штатских москвошвеевских костюмах и платьях выходили из немецкой кирхи в окружении двухсот пропотевших, пропыленных солдатских гимнастеров.

Был конец войны, и каждая гимнастерка брэнчала медалями на грязных потертых ленточках.

У старой певицы на длинном пиджаке с огромными ватными плечами был орден «Знак почета».

Тощий подполковник слегка отстал от группы и поманил к себе младшего лейтенанта.

— Ну-ка, начпрода сюда.

Младший лейтенант метнулся в толпу и позвал толстенького старшего лейтенанта, показывая на подполковника.

Старший лейтенант подскочил, откозырял.

— Надо бы банкетик артистам соорудить, — сказал подполковник. — По баночке тушенки на брата, сахару подбрось, спиртику по сто граммчиков. Что там еще у тебя есть?

— Так, товарищ подполковник, я уже предлагал ихней руководительнице, — зашептал на ходу старший лейтенант и показал на старую певицу. — Но они говорят, что им некогда. Им, вроде бы, через два часа уже в штабе дивизии быть нужно. У них там обратно концерт.

— Ну, сухим пайком выдай. Прояви инициативу. Еще раз предложи культурненько... Что за тебя замполит должен думать? — и подполковник сердито ускорил шаг.

— Слушаюсь!

Старший лейтенант обогнал всю группу, взял под козырек перед командиром полка и спросил:

— Товарищ полковник! Разрешите обратиться к товарищу артистке насчет банкета?

— Обращайтесь, — сказал полковник и вся группа остановилась.

— Я, конечно, извиняюсь, товарищ заслуженная артистка, — культурно обратился старший лейтенант. — Но вы банкетик здесь кушать будете или с собой возьмете?

Полковник вздохнул и в отчаянии отвел глаза в сторону.

Старая певица ласково посмотрела на старшего лейтенанта и, взяв успокоительно полковника под руку, сказала начпроду:

— С собой, голубчик, с собой, если можно.

— Слушаюсь! — сказал начпрод и победно посмотрел на молодых офицеров — дескать, «и мы не лыком шиты!»

— А машина уже за нами пришла? — спросила заслуженная артистка у полковника.

Полковник улыбнулся, сделал жест рукой, говорящий о том, что «сию секунду все будет выяснено», и что-то тихо спросил у замполита.

Замполит кивнул и вопросительно посмотрел на начальника штаба. Начальник штаба пожал плечами и поманил к себе какого-то лейтенантика.

Лейтенантик козырнул, метнулся в толпу солдат, на какое-то время исчез в ней, а потом вынырнул уже за спинами толпы...

... таща за ремень какого-то солдатика.

Самым грозным образом лейтенант отдал приказ солдату, и солдат, изображая поспешность, потрусил к расположению полка.

Повар курил сигару, с удивлением разглядывал ее после каждой новой затяжки и по-мальчишески длинно сплевывал.

Сержант сворачивал сигарку.

— У тебя что, махра? — спросил повар и сплюнул.

— Ага.

— Кременчугская, моршанская?

— Моршанская.

— Тьфу! Это же не махорка, а «смерть немецким оккупантам!» Дать тебе сигару? У меня еще одна есть.

— Не хочу, спасибо.

— Интеллигент! — рассмеялся повар. — «Не хочу, спасибо!»

Еле волоча ноги подошел солдатик, которого лейтенант послал узнать про машину.

— Оставь покурить, — сказал он сержанту и присел рядом.

Сержант два раза затянулся поглубже и передал окурок солдату.

— Есть будешь? — спросил повар у солдата.

— А чего там у тебя?

— Каша с мясом.

— Ну ее... — отмахнулся солдат и повернулся к сержанту. — Ты не за артистами приехал?

— Нет, я на склад боепитания, за излишками.

— А-а-а. А за артистами никто не приезжал?

— Понятия не имею, — ответил сержант.

Солдат докурил, зевнул, потянулся и встал:

— Спасибо за компанию. Побёг.

И неспеша двинулся в сторону кирхи.

Потом он, непонятно каким образом, запыхавшийся и взъерошенный, торопливо докладывал лейтенанту.

Лейтенант похлопал по плечу и убежал. Солдат посмотрел вслед лейтенанту и лениво стрельнул у кого-то покурить.

А лейтенант уже докладывал начальнику штаба, и тот кивал головой...

Потом начальник штаба что-то шептал замполиту...

Потом замполит отвел командира полка в сторону от артистов и тоже что-то пошептал...

А потом наш сержант стоял перед начальником штаба и тот ему говорил:

— Погрузишь артистов и в дивизию.

— А ящики с боеприпасами куда? Их там штук сорок.

— Мы тебе прицеп дадим. Твоя коломбина потянет?

— Потянет-то потянет... — с сомнением проговорил сержант.

— В дивизии посадишь артистов и сдашь груз.

— Слушаюсь.

— Артистов не пугай. Скажи, мол, консервы нужно перебросить.

— Слушаюсь.

— И вообще там... Поглядывай.

— Разрешите идти?

— Двигай.

За добротной каменной ригой, где помещался склад боеприпасов, стоял лихой младший сержант. Коротенькая гимнастерочка, сапожки в гармошку, примятая фуражечка — все как положено старому фронтовику.

Рядом с ним стояла беременная девушка с погонами старшины-инструктора. Между ними на земле лежал вещмешок и большая уродливая трофейная дамская сумка.

Девушка плакала. Плакала и прижималась мокрым от слез лицом к лейтенантской гимнастерке. А он стоял, словно вырезанный из фанеры, тоскливо смотрел вверх ее головы и время от времени повторял:

— Ну, чего ты? Чего ты, в самом деле? Ну ладно тебе, Катюш! Ну, хватит... Смотрят же...

И сам шмыгал носом.

А девушка плакала еще сильнее, и плечи ее вздрагивали, и она еще глубже зарывалась лицом в ордена и медали своего лейтенанта.

Но вот лейтенант совладал с собой и, ткнув пальцем в живот девушки, строго сказал:

— Ты только ему это хуже делаешь! Будет потом у нас нервным, психованным каким-нибудь. И все из-за тебя!

Девушка подняла залитые слезами глаза на лейтенанта и засмеялась.

— Господи! — сказала она, смеясь и плача. — Ты у меня еще такой глупый!

К складу боепитания подкатил фургон. Из глубины ЗИСа выпрыгнул сержант Вася.

Младший лейтенант, увидев сержанта, то-ропливо сказал:

— Подожди, я сейчас с Васькой догово-рюсь.

И заорал:

— Вася! Василь Васильевич!

Но тут же спохватился и испуганно посмот-рел на живот девушки.

Девушка опять рассмеялась, а младший сер-жант молча поманил сержанта рукой.

— Сейчас! Только под прицеп развернусь!

Сержант снова сел за руль, развернулся, по-догнал свой фургон к прицепу и крикнул кому-то из солдат:

— Хорошо?

— Порядок! — ответил солдат и накинуд тягу прицепа на крюк ЗИСа.

Сержант выключил двигатель, выпрыгнул из кабины и подошел к младшему лейтенанту.

— Слушаю, ваше благородие!

«Его благородие» был младше сержанта года на два и под конец войны можно было по-зволить себе такое обращение.

— Ты в дивизию?

— Так точно.

— Возьми Катюшку... — попросил младший лейтенант и погладил девушку по плечу. — Ей там документы на демобилизацию получать. Сам видишь...

— О чем разговор? Тащи ее шмотки в ка-бину.

Младший лейтенант подхватил вещмешок и сумку и понес их к машине.

— Ты тоже иди, садись в кабину, — сказал сержант девушке. — Тебе сейчас стоять много вредно.

— Ничего, — сказала девушка и пошла к машине.

— Скоро вы? — крикнул сержант солдатам.

— Еще три минутки!

— Петро! — крикнул сержант младшему лейтенанту. — Иди сюда! Покурить успеем.

— Устраивайся поудобнее, — говорил младший лейтенант своей девушке. — На колени ничего не клади, не дай бог тряхнет...

Он глазами показал на живот девушки и стал запихивать вещмешок и сумку за сиденье.

— Иди, иди, покури, — улыбнулась девушка. — Ты за меня не беспокойся.

А в это время заведующий складом боепитания — хитроглазый старшина лет двадцати семи, стоял в проеме дверей склада и говорил сержанту.

— Как же! Держи карман шире! Женится он на ней! На каждой жениться — жизни не хватит. А у него ее и не было...

— Чего? — не понял сержант.

— Жизни. Что он видел-то? С шестнадцати лет до двадцати — четыре года от Москвы вот до сюда топал. Передовая да санбаты... Вот и вся его жизнь. А теперь она за свои же прегрешения...

— За какие еще прегрешения? — удивился сержант.

— «За какие, за какие»! — захохотал старшина. — Что ты думаешь, он у нее один был?

Сержант сгреб старшину за гимнастерку и тихо сказал:

— Ну-ка, иди сюда... Я тебе кое-что объясню...

И сержант неторопливо стал втягивать старшину в темноту склада боепитания.

— Пусти, кому говорят! — послышался оттуда полузадушенный хриплый голос старшины.

Затем раздался звук удара обо что-то мягкое, и сразу же за ним грохот каких-то падающих предметов, звон стекла и металлический лязг.

Из ворот темного склада, как ни в чем ни бывало, вышел сержант. Он вышел как раз в тот момент, когда к складу уже подходил младший лейтенант, доставая на ходу из кармана пачку «Беломора».

Из склада, прихрамывая, появился старшина. Верхняя губа у него вздулась, а на гимнастерке не хватало двух пуговиц.

— Это где тебя так угораздило, Сазоныч? — удивился младший лейтенант.

Старшина осторожно потрогал губу и, не отвечая, стал отряхивать штаны.

Сержант беспечно рассмеялся и легко сказал:

— Я ему сколько раз говорил: «Проведи ты свет на свой склад, а то там в темноте и убиться недолго».

Он прикурил у младшего лейтенанта и отвернулся от старшины.

— Ладно, поговорим еще... — мрачно сказал старшина.

— Обязательно! — улыбнулся сержант.

Он повернулся к младшему лейтенанту и спросил:

— На свадьбу-то позовешь?

— Тебя хоть куда позову, — сказал младший лейтенант. — Хоть на свадьбу, хоть на именины, хоть на праздник престольный!

— То-то...

— Катюшку повезешь — не гони. Потихонечку, — озабоченно сказал младший лейтенант.

— Ладно, ваше благородие, держите хвост морковкой! Это вам не «ура» кричать — тут дело тонкое. Пошли, глава семейства!

И они оба направились к фургону, а старшина посмотрел им вслед и снова осторожно потрогал свою распухшую верхнюю губу.

Провожали артистов. Руки им пожимали. Дарили на память трофейные безделушки. Подсаживали в фургон.

— Передайте наш фронтовой привет всему многонациональному советскому государству! — надсадно прокричал толстенький начпрод.

В кабине ЗИСа неподвижно сидела беременная девушка, а печальный младший лейтенант стоял на подножке и держал ее за руку.

Ни о чем они не говорили и даже не смотрели друг на друга. Потому что вокруг фургона стояла веселая суматоха и девушка стеснялась

плакать, а младший лейтенант пребывал в растерянности и смятении.

К машине шли командир полка и замполит.

Они вели заслуженную артистку, желая ее устроить поудобнее — в кабине. Но замполит первым увидел, что кабина занята, и незаметно подтолкнул командира полка.

Полковник тоже увидел в кабине девушку-старшину и, не останавливаясь, провел заслуженную артистку к задней двери фургона.

Замполит подошел к кабине и смущенно спросил:

— Значит, покидаешь нас, Катя...

— Покидаю, — деревянно ответила девушка.

— Так, значит... — сказал замполит.

Девушка кивнула.

— Ну, не забывай, значит... Скоро вся петрушка кончится, мы твоего в первую очередь демобилизуем.

— Спасибо, — сказала девушка.

— Вот так, значит, — сказал замполит. — В штаб дивизии приедешь, скажи, чтоб тебя с комсомольского учета сняли и личное дело на руки выдали. Скажешь, что я разрешил...

— Слушаюсь.

— Ну, прощай, Катя. Будь здорова. Рожай парня! Чтобы, значит, мальчишка был!

— Можно ехать? — спросил сержант.

— Давайте! — ответил замполит.

Младший лейтенант спрыгнул с подножки.

Они впервые посмотрели с девушкой друг на друга.

— Петенька! — шепотом прокричала девушка и в ужасе зажала рот ладонью.

Сержант перевесил автомат поближе к себе и тихонько тронул с места.

И снова сквозь тополя под колеса катилась дорога.

В фургоне сидели уставшие артисты, и каждый по-своему кушал свой «банкетик». Только старая певица, накинув ватник на плечи и надев совсем старушечьи очки на нос, пыталась читать книгу.

В кабине сержант смотрел на дорогу, на обочины и назад — в зеркальце на крыле. Руки его почти неподвижно лежали на руле.

— Конечно, — говорила девушка-санструктор, — без наговоров все это не обойдется... Пойдут шушукаться по дворам! У нас бабы злые. В мирное-то время злые были, а уж сейчас-то, наверное, и вовсе... Так и слышу их! Господи! Хоть бы Петенька скорей приехал...

Сержант внимательно огляделся по сторонам, остановил машину.

— Посиди секунду, — сказал он девушке, взял автомат и вылез из кабины.

Он подошел у задней двери кабины и заглянул внутрь:

— Простите, пожалуйста. Если кому-нибудь нужно выйти... Вы понимаете, о чем я говорю? То лучше это сделать сейчас, потому что больше останавливаться не будем. Для справки: ехать нам минут сорок.

— Мы потерпим, — сказал немолодой артист. — Как дамы?

— Дамы всю жизнь во всех отношениях были в десять раз терпеливее мужчин, — не забыв снять очки, кокетливо улыбнулась сержанту старая певица.

— Прекрасно, — сказал сержант.

Он легко запрыгнул в прицеп и, повернувшись спиной к открытой двери фургона, открыл один ящик и достал оттуда осколочную гранату.

Сунув гранату в карман, сержант спрыгнул с прицепа, заглянул внутрь фургона и небрежно, словно о несостоящем внимании пустяке, сказал:

— Да, кстати, если вы вдруг услышите какую-нибудь стрельбу, ложитесь все рядком и лежите спокойненько. Ладно? И вообще, держите хвост морковкой.

Артисты посерьезнели, закивали головами, а пожилой артист сказал пышным голосом:

— «Стократ священен союз меча и лиры...»

— Правильно! — сказал сержант. — «Единый лавр их дружно обвивает». Поехали?

Тяжело фургону тащить за собой груженный прицеп. Хорошо еще, что дорога прямая.

— Парни все за войну избаловались, — говорила девушка, — домой приедут — подавай им должность. Конечно, он на фронте, может, ротой или взводом, как Петя, командовал, и на гражданке идти куда-нибудь в подчинение ему будет очень прискорбно. Но думаю, что я смогу Петьку устроить. В конце концов может в школе кружок

военного дела вести. Или в райкоме комсомола будет работать. Правда ведь?

Сержант отрывал глаза от дороги и посмотрел на ожившую девушку.

— Пусть уж лучше кружок ведет...

Но девушка не слышала сержанта. Она слегка охнула, замерла, глаза у нее широко раскрылись и невидяще остановились на лице сержанта.

— Ты что? — тревожно спросил сержант.

Девушка глубоко вздохнула, улыбнулась и как-то очень по-женски проговорила слабым голосом:

— Толкнулся.

— Кто?!

— Он, — она показала на свой живот и счастливо прошептала. — Он так шевелится! Васька, он так шевелится!

И в это время раздалась пулеметная очередь, сразу же вспоровшая капот ЗИСа. Наверное, двигатель задет не был, потому что сержант резко прибавил газу, погнав машину вперед.

— Пригнись! — крикнул сержант девушке.

А пулемет бил по машине, и осколки дорожного бетона взлетали фонтанчиками из-под колес.

Сержант посмотрел в зеркальце и увидел, что горит прицеп.

Прицеп, в котором лежали несколько десятков ящиков с гранатами и взрывателями, полыхал на ветру.

— А, черт! — сержант еще увеличил скорость.

— Вот теперь он загружен! — торжествующе кричал старший по званию немецкий офицер. — Вот теперь в нем есть все!

Он сам лежал у пулемета и старательно ловил в прицел мчащийся фургон.

— Вперед! Догнать его! Догнать!..

Из ельника выскочили три мотоциклиста с пулеметами на колясках и понеслись за нелепым русским фургоном, отягощенным горящим прицепом.

Сержант еще раз посмотрел в зеркало заднего вида. Горел прицеп. Догоняли мотоциклисты.

Сержант вытянул кнопку ручного газа, установил постоянные обороты двигателя и снял ногу с педали.

— Катька! Рулить сможешь?

— Смогу.

— Держи баранку. И только прямо!

Сержант открыл дверь кабины, передал руль девушке.

— Ты куда?!

— Прицеп горит. Сбросить надо!

— Убьют, Васька! — закричала девушка.

— Не убьют! Держи хвост морковкой!

Наверное, это мог сделать только «цирковой». Сержант встал на подножку кабины, ухватился за что-то, подтянулся и впрыгнул на крышу фургона.

Мчался ЗИС, горел прицеп, совсем близко были немцы, а сержант по крыше фургона пробежал в полный рост и спустился в проем задней двери. Артисты лежали на полу кузова.

— «Единый лавр...» — пробормотал сержант и попытался снять сцепку прицепа с крюка.

Гудел и терзал огонь на прицепе, каждую секунду мог раздаться взрыв, а сцепка все никак не снималась с крюка.

Неловко изогнувшись, сидя на пассажирском сиденьи, девушка Катя, старшина медицинской службы, демобилизованная по причине беременности, вела грузовик.

На сержанте уже тлела гимнастерка. Лицо его было обожжено, руки в крови.

Одной ногой он стоял на борту прицепа, другой на ступеньке фургона, а внизу под ним неслась серая лента бетонной дороги. Сержант ждал, чтобы машину тряхнуло на выбоине и тогда сцепка ослабнет.

Переднее колесо на полном ходу скользнуло по краю воронки и сержант мгновенно сбросил сцепку с крюка. Он еле успел ухватиться за косяк фургонной двери. Машина, освободившаяся от прицепа, помчалась по шоссе.

Горящий прицеп стал отставать, и немцы поняли, что остановить автомобиль им не удастся. Тогда они открыли ураганный огонь.

Они видели, как сержант снова оказался на крыше фургона. Сержант вынул из кармана гранату, выдернул чеку и сильно бросил гранату в удаляющийся полыхающий прицеп.

Машина чудом проскочила глубокую воронку, прицеп взорвался, и высыпавшие на дорогу немцы были сметены с лица земли.

Сержант быстро спустился с крыши фургона на подножку кабины, просунулся в дверцу и

увидел простреленное ветровое стекло; девушку Катю, сбоку держащуюся за руль; и кровь, заливающую катину гимнастерку, шинель, юбку...

Еще сержант увидел глаза Кати — залитые слезами и устремленные неподвижно на дорогу. Вперед, только вперед...

Сержант перехватил руль, поставил ногу на педаль, убрал ручной газ и осторожно привалил Катю к спинке сиденья.

— Катя! Катюша! Ты что?! Ты потерпи немножечко, — бормотал сержант и гнал, гнал машину вперед.

Лицо Кати было неподвижно, и только слезы тихо сползали с ресниц.

— Убили нас, Васенька, — вдруг сказала Катя. — Невовремя нас убили...

— Что ты! Что ты?! — закричал сержант. — Катюшенька, что ты говоришь?! Ты живая! Ты даже очень живая! И он живой! Он тоже живой! Ты только потерпи немножечко! Мы сейчас. Мы мигом!

Фургон мчался по шоссе с невиданной скоростью. Сержант остервенело крутил баранку, смотрел вперед и не видел, как рядом с ним умерла Катя.

— Ты не волнуйся, ты держи хвост морковкой! — кричал он ей, не отрывая глаз от дороги. — Приедет Петька. Поженитесь. Ты не смотри, что он молодой! Он же четыре года от Москвы до Германии топал! Он и жизни-то человеческой совсем не видел! Передовая да санбаты! Пацана воспитывать будете. Я к вам в гости приеду. У вас цирк в городе есть? А, Катюшка?

Может, ты пить хочешь, Катенька?.. Сейчас! Ты думаешь, у меня нету? У меня все есть!

Сержант протянул окровавленную, обожженную руку вниз, достал флягу, протянул ее Кате. И, улыбаясь, посмотрел на нее.

Сквозь простреленное стекло в кабину ворвался встречный ветер. Он пошевелил прядку волос мертвой Кати и высушил слезы на ее щеках.

Сержант осторожно положил флягу на сиденье, притормозил и поехал медленно-медленно.

Словно похоронные дроги, фургон ехал по расположению дивизии. Еле-еле катил он по неширокой улочке, и все, кто попадался ему навстречу, останавливались и смотрели ему вслед.

С искареженным капотом, простреленным ветровым стеклом, с дверцами, пробитыми пулевыми очередями, с израненным в щепки фургоном, хромя спущенными правыми задними колесами, ЗИС медленно подкатил у штабу дивизии.

— Артисты приехали! Арти...

Сержант тяжело вылез из-за руля, обошел фургон и заглянул внутрь:

— Все живы?

— Все, голубчик... Все, слава богу, — ответила старая певица.

Сержант и старик-ефрейтор только что закончили делать холмик на могиле Кати.

Неподалеку, метрах в трехстах, шел концерт под открытым небом. Оттуда доносилась музыка, веселые куплеты и аплодисменты.

Сержант взял лопату под мышку, помотал забинтованными руками и попросил стрика-ефрейтора:

— Сверни мне покурить.

— погоди ты с куревом, — недовольно сказал старик. — Сыми шапку.

Сержант бросил лопату и неловко стянул с себя пилотку.

Старик тоже снял с себя пилотку, засунул ее под ремень, обратился лицом к солнцу, перекрестился и сказал:

— Господи, упокой душу рабы твоей... Как ее звали-то?

— Катя, — грустно сказал сержант.

— Господи, упокой душу рабы твоей Катерины... — старик истово перекрестился. — Прости своей усопшей рабе все прегрешения...

— Какие еще прегрешения?! — злобно ощерился сержант и шагнул у старику-ефрейтору.

— Ну, говорят так... — забормотал старик.

— Я тебе покажу «прегрешения»! — рявкнул сержант.

Старик испуганно втянул голову в плечи и сержант почувствовал себя виноватым.

— Не было у нее никаких прегрешений, — тихо произнес сержант. — Не было...

Старик посмотрел на сержанта прозрачными детскими глазами и вдруг спросил:

— Интересно. И кто бы у нее родился: дочка? сын?.. А?

Совсем неподалеку, метрах в трехстах, под открытым небом шел концерт. Играл баян, бросал мячики пожилой жонглер...

— А? — переспросил старый ефрейтор. — Как думаешь?

— Не знаю, — ответил сержант. — Они сына хотели.

— Конечно, — оживленно сказал старый ефрейтор. — Первый ребяенок в семье обязательно парень должен быть. Работник! Или можно было его пустить по умственной линии. Как считаешь?

— Не знаю, — сказал сержант. — Не знаю... Но если когда-нибудь у меня будет сын...

Очень ранним летним утром по спящей улице вели слона.

Вел его человек средних лет, одетый в джинсы и старую вытертую кожаную куртку. На ногах у него были кеды.

Шли они посередине неширокой улицы, прямо по белой осевой линии.

Человек курил сигарету, а слон время от времени досадливо отмахивался от дыма хоботом.

Шли они мимо спящих бездомных «запорожцев» и «москвичей». Шли они мимо даже одной «Волги», хотя у «волг» обычно всегда есть гараж, и им не свойственно легкомыслие «запорожцев».

Шли они мимо симпатичных прозрачных кафе, мимо магазина «Спортовары», мимо маленькой студии телевидения, мимо очень красивого кинотеатра, где шел цикл мультяшек «Ну погоди!»

Ни одна живая душа не встрети­лась слону и человеку в джинсах. Только у витрины «Универма­га», где был выставлен мебельный гарнитур спальни с торшером и баром, самозабвенно целовалась какая-то парочка.

Человек, который вел слона, и внимания на них не обратил, а слон — это был, наверное, бес­тактный слон — замедлил шаг и несколько раз обернулся. Хорошо, что парочка так целовалась, что слона-то и не заметила.

На перекрестке уже работал светофор-ав­томат. Человек и слон постояли, подождали зеле­ного сигнала, синхронно посмотрели направо, затем налево, и только после этого двинулись дальше. И если бы человеку не хотелось пить, а слону не мешал дым от сигареты, они оба чувствовали бы себя пре­красно.

Пройдя перекресток, человек подвел слона к автоматам с газированной водой.

Человек выпил два стакана воды без сиропа, вытер рот и лицо платком, порылся в карманах и достал несколько кусочков сахара, угостил слона и повел его снова по середине улицы, прямо по белой осевой линии.

И Я САМ

Это был небольшой и очень симпатичный городок юга России. Жители таких городов глу­боко убеждены, что они живут в центре вселен­ной, а Минск, Одесса, Лондон и Харьков — это

не что иное, как предместья их собственного города.

В общем, это был хороший город, и в нем стоял хороший цирк.

Цирк имел брезентовый купол цвета хаки и был виден из любого конца города. Даже из дачной местности.

Фасад цирка был украшен рекламами — творениями местного живописца, который имел весьма смутное представление о пропорциях. А еще на фасаде были густо наклеены бумажные плакаты с названиями номеров.

Рядом с цирком дремали несколько «запорожцев», «москвичей» и «газиков-козлов». «Газики» были явно колхозного происхождения.

Двери цирка были еще открыты, и опаздывающие зрители торопливо прошмыгивали в освещенное фойе. А сквозь брезентовый купол город слышал, как цирковой оркестр настраивал инструменты.

«Последний день сезона!» — предупреждала афишная тумба.

«Последний день сезона!» — возвещал рекламный щит.

«Последний день сезона!» — гласило объявление над кассами.

Через пять минут начиналось последнее представление летнего сезона.

Рядом со входом в цирк стояли двое: двенадцатилетний мальчишка с хитрой продувной рожей и очень элегантный молодой человек двадцати двух лет с цирковым значком на лацкане синего модного пиджака.

Следует заметить, что элегантный молодой человек был поразительно похож на сержанта Васю, с которым мы познакомились на фронтовой дороге весной сорок пятого года. Буквально одно лицо!

Под мышкой мальчишка держал скрипичный футляр, а в руках небольшую картонку величиной в половину тетрадного листа, всю усеянную значками.

Такая же картонка, только с другими значками, была в руках у молодого человека. Молодой человек нервничал, горячился, а мальчишка холодно улыбался и вел себя с опытностью ростовщика-монополиста.

— Слушай, мне это начинает не нравиться, — нервно сказал молодой человек. — Ты просто кошмарный тип! Ты же меня постоянно обжуливаешь!

— О чем ты говоришь?! — презрительно усмехнулся мальчишка. — Я тебе дал два «Камовских» из вертолетной серии за твой паршивый польский харцеровский значок, и ты еще недоволен! Кстати, там у тебя кусочек эмали отбит, так что я, кажется, вообще совершаю непростительную глупость.

— Ну, хорошо, хорошо... — торопливо сказал молодой человек. — Согласен. Бери, кровопивец, бери... Гангстер!

«Кровопивец» изобразил отчаянную решительность, которая называется «Эх, где наша не пропадала!» и обмен состоялся.

Мальчишка с удовольствием воткнул редкий польский значок в свою картонку и отдал два общедоступных значка молодому человеку.

Слышно было, как прозвенел звонок в цирке. Молодой человек нервно посмотрел на часы.

— Не торопись, — сказал мальчишка. — Помнишь, ты мне еще в прошлый приезд обещал цирковой значок?

— Два года назад я приезжал сюда юным, доверчивым, начинающим собирателем, а ты уже тогда был вампир со стажем, и тебе ничего не стоило выманить у меня такое обещание. Но теперь...

— А что изменилось? — насмешливо спросил мальчишка. — У тебя и сейчас для коллекционера очень низкий уровень. Тебя выручает только то, что ты теперь часто бываешь за границей.

— Почему это? — обиделся молодой человек.

— Потому что ты собираешь все. А в нашем деле нужна узкая специализация. Нельзя разбрасываться так, как это делаешь ты. Собирай «спорт», или «искусство», или «авиацию». А ты за все хватаешься. Ни учета, ни системы.

В цирке раздались два звонка.

— Все, — нервно сказал молодой человек. — Во-первых, меня тошнит от твоего покровительственного тона, а во-вторых, мне пора на работу.

— Так как же насчет циркового значка?

— Никак.

Молодой человек уже сделал два шага к двери цирка, как вдруг услышал спокойный голос мальчика:

— Тебе же хуже.

— Почему? — испуганно остановился молодой человек.

— Потому что у меня появился значок прессы мексиканской олимпиады, а я знаю, что ты умираешь от желания его иметь.

— Покажи!

— Иди, иди, на работу опаздаешь, — заметил опытный соблазнитель.

— Я тебя в цирк проведу, — унизился молодой человек.

— Значок, — жестко сказал мальчишка.

Прозвенело три звонка.

— Ну хорошо, — сказал молодой человек. — Поговорим после... Ты идешь со мной?

— А куда я это дену? — мальчишка с ненавистью посмотрел на футляр со скрипкой.

— Полежит у меня в гардеробной. Давай! — быстро сказал молодой человек, взял у мальчишки скрипку и они побежали к закрывающимся дверям цирка.

В гардеробной цирка заканчивали гримироваться Витя и Нина — брат и сестра — партнеры знакомого нам молодого человека. Им тоже было по двадцать два, и они были очень похожи.

Влетел наш знакомый со скрипкой в руках.

— Братцы... — виновато сказал он и стал молниеносно раздеваться.

— Совесть есть? — спросил Витя.

— Нет у него совести. Не задавай идиотских вопросов, — сказала Нина.

Она встала из-за стола, открыла футляр, посмотрела на скрипку, на молодого человека,

который уже натягивал блестящую рубашку и задумчиво сказала:

— Что-то новенькое...

— Ты собираешься еще прирабатывать в оркестре? — спросил Витя.

Молодой человек запрыгнул на реквизитный ящик и стал надевать белоснежные брюки.

— Ребята, это глупо, — жалобно сказал молодой человек, стараясь попась в штанину. — Нинка, закрой футляр! Чужая вещь!

Он наконец надел штаны, сел на ящик и стал натягивать на ноги мягкие белые ботинки «акробатки».

Витя бинтовал кисти рук.

Молодой человек вместе со стулом повернулся к Нине и подставил ей спину.

— Дорогие братья и сестры! Помогите несчастенькому...

Сверкающая рубашка застегивалась сзади на крючки.

И пока он шнуровал свои ботинки, Нина привычно застегивала ему сзади рубашку. На последнем крючке молодой человек перехватил ее руку и очень нежно поцеловал в ладонь.

Нина щелкнула его по носу.

— С каким бы наслаждением я тебя сейчас треснула!

Молодой человек счастливо рассмеялся.

— Кончайте курлыкать! — сказал Витя. — Я пошел разминаться. Догоняйте... Васька, не тяни резину!

Он вышел из гардеробной. Васька тут же обнял Нину, прижал ее к себе и зарылся лицом в ее волосы.

— Я люблю тебя. Дружочек мой, солнышко мое...

— Милый мой! Хороший, глупый, родной! Пусти меня...

Она с силой высвободилась из васькиных объятий.

— Давай, Васюська, крась рожицу. А то Витька раскричится и будет абсолютно прав.

Она тоже выскочила из гардеробной и захолопнула за собой дверь.

Васька сел перед зеркалом и стал быстро накладывать тон на лицо.

— «Я другом ей не был,
Я мужем ей не был —
Я только ходил по следам.
Сегодня я отдал ей целое небо,
А завтра всю землю отдам...»

— бормотал он, глядя на себя в зеркало.

Нина разминалась во внутреннем дворике цирка у вагончиков. Рядом с ней стоял красивый парень — воздушный гимнаст Сатаров-младший и что-то говорил ей. Нина смеялась, кокетливо поглядывая на Сатарова.

Все это очень не нравилось нининому брату Вите. Он недобро покрутил головой и, наконец, не выдержал:

— Нинка! Работай!

— А я что делаю? — удивилась Нина.

— Работай, кому сказано!

— Витек, зачем так с Ниночкой? — с явным чувством собственного превосходства улыбнулся Сатаров...

... Васька уже закончил гримироваться и теперь бинтовал эластичным бинтом кисти рук.

Открылась дверь гардеробной и вошел Витя.

— Старик, — сказал он, внимательно разглядывая старую афишу на стене. — Мне, конечно, это все до лампочки... Я, как ты знаешь, за сестрой особенно не присматриваю. Девчонка взрослая.

Васька напряженно смотрел на него через зеркало. Затем резко повернулся к нему лицом и жестко произнес:

— Короче.

— Просто мне показалось, что тебе имеет смысл знать об этом, — спокойно поправляя бинты на правой руке, сказал Витя. — Уже несколько раз я видел, как Сатаров-младший очень симпатично клеит Нинку. Если бы он вел себя как-нибудь иначе — я бы и сам отреагировал. Как брат...

— Спасибо, Витек, — улыбнулся Васька.

— Просто я подумал, что тебе следует об этом знать.

— Все в порядке, партнерчик! Держи хвост морковкой!

— Да, кстати... Я давно хотел тебя спросить: откуда у тебя эта дурацкая пословица?

Васька глянул на него, попытался что-то вспомнить, пожал в недоумении плечами и растерянно ответил:

— Понятия не имею.

Только что с манежа за кулисы выскочили двое — мужчина и женщина. Разгоряченные, вымотанные, со следами грубого «циркового» грима на мокрых лицах.

— Ты плотнее можешь брать группировку на заднем сальто-мортале? — раздраженно крикнул мужчина женщине.

Женщина молча махнула рукой.

— Что ты машешь? Что ты машешь? С таким сальтоморталем тебя ни один нижний не поймает!

Не отвечая, женщина устало накинула халат.

— Ну, погоди! — угрожающе сказал мужчина. — В Казани ты у меня по четыре раза репетировать будешь!

Мимо них двое униформистов тащили какой-то реквизит.

— С окончанием! — крикнул один из них.

Она подошла вплотную к своему партнеру.

— С окончанием... — ласково сказала она ему. — Не злись.

— С окончанием... — проворчал он и поцеловал ее в щеку.

Последний день сезона.

Актеры, отработавшие свои номера, наспех снимали грим, натягивали рабочие комбинезоны на голое тело. Они вытаскивали ящики, разбирали реквизит, укладывали костюмы.

То и дело слышалось:

— С окончанием!

А рядом разминались артисты и лошади.

Старик-конюх водил сразу двух лошадей.

На полу сидел ассистент аппаратного номера и гаечным ключом развинчивал металлическую конструкцию.

На низко повешенной трапедии разминался Сатаров-старший.

Рядом занимался на кольцах Сатаров-младший. Не прекращая выжиматься, он что-то говорил Нине.

Нина, опираясь о стенку руками, пританцовывала, разминала голеностопные суставы.

Радужно улыбаясь, к ним подошел Васька и сказал Нине:

— Мадам, ваш братец изволит просить вас...

И Васька показал на разминавшегося неподалеку Витю.

Нина отошла.

— Старик, — Васька весело и нежно посмотрел на Сатарова. — Как тебе известно, я Пажеский корпус не кончал, и все, что я сейчас скажу, может быть, покажется тебе несколько грубоватым. Так вот, если ты еще хоть раз подойдешь к Нине... Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю? Ноги переломаю. Понял?

Сатаров спрыгнул с колец и оказался на полголовы выше Васьки.

— Что ты сказал?

— Я сказал, что если ты еще раз подойдешь к Нине, я тебе ноги переломаю. И лучше не торопи меня это делать. У нас еще впереди работа, упаковка... Успеется.

Сатаров-младший сгреб Ваську за сверкающую рубашку, притянул его к себе и тихо спросил:

— Мальчик, на кого ты хвостик задираешь?

И в то же мгновение получил два коротких и резких удара в лицо и солнечное сплетение.

Ошеломленный Сатаров отлетел к вагончику, но тут же бросился на Ваську. Он был вдвое сильнее Васьки и не менее тренирован.

Васька спокойно встретил его прямым ударом в челюсть, но и сам не успел увернуться от руки Сатарова. Удар был настолько силен, что Васька перелетел через чей-то реквизитный ящик. Но тут же вскочил и бросился к Сатарову.

Испуганно закричали женщины, заплакал чей-то ребенок.

Сатарова-младшего уже держали за руки его старший брат, конюх и кто-то из артистов. Сатаров-младший сплевывал кровью, рвался к Ваське и кричал:

— Я сейчас из него такую мартышку сделаю!

С манежа за кулисы влетел инспектор манежа во фраке.

— Вы что, с ума сошли?! — в ужасе закричал он сдавленным голосом. — Там же все слышно! Товарищи! Что же вы делаете?!

— Все. Все в порядке, — умоляюще проговорил Сатаров-старший. — Разминочка. Обычная разминочка. Тихо, тихо...

— Ну, все. Хватит, — сказал Васька Нине и Вите. — Отпустите, ну вас к черту.

Глаз у него заплывал опухолью. Нина и Витя выпустили его. Он осторожно потрогал глаз рукой и ухмыльнулся, глядя на младшего Сатарова.

— Крепенький паренек...

— Работать сможешь? — деловито спросил его Витя.

— А как же? Размялся, разогрелся — хоть сейчас на манеж.

Неподалеку от них, зажатый старшим братом в углу, Сатаров-младший щупал вздувшуюся верхнюю губу и с яростью говорил:

— Ноги он мне переломает!

— Ну и правильно, — сказал старший. — У них там с Нинкой серьезно, а ты лезешь между ними и треплешься.

— Да я его как котенка удавлю!

— То-то у тебя губа наперекосяк стала, давитесь, — улыбнулся старший брат.

— Я его еще разрисую, как бог черепаху!

— Жаль, — вздохнул Сатаров-старший. — Тогда мне самому придется набить тебе морду.

Он заботливо пощупал верхнюю губу младшего брата и стал спокойно считать, загибая пальцы:

— После этого ты три дня не сможешь работать. У тебя три раза по восемь — это двадцать четыре рубля вылетают из зарплаты. И у меня — трижды десять — тридцать... Итого: мы с тобой теряем пятьдесят четыре рубля. Нерентабельно.

— Ты что, в своем уме?

— Нет, серьезно, браток. Нерентабельно.

... Рядом с центральным проходом на ступеньках сидел наш знакомый мальчишка. В то

время, как весь цирк хохотал над проделками коверного клоуна, он сидел, скептически смотрел на манеж и время от времени досадливо вздыхал. Клоун ему не нравился.

Около него шумно веселился пожилой полный человек. Он даже ногами топал от удовольствия.

Мальчишка посмотрел на него, отвел глаза в сторону и сказал:

— Мура собачья...

— Ну уж и «мура», — вытирая слезы, сказал пожилой человек. — Какой строгий ценитель! Шекспира ему подавай!

Мальчишка хотел было огрызнуться, но вдруг увидел в петлице пиджака пожилого человека очень красивый значок. Он мгновенно переменял тактику и сказал сладким фальшивым голосом пай-мальчика:

— Пожалуй, вы правы... — и, не отрывая глаз от значка, льстиво улыбаясь, стал аплодировать клоуну.

— Лауреаты международного фестиваля артистов цирка, акробаты-вольтижеры... — прокричал инспектор манежа.

Мальчишка оторвался от значка и уже совершенно искренне зааплодировал.

— Вот сейчас действительно будет номер!

Но тут же мальчишка снова увидел прекрасный желанный значок на пиджаке пожилого человека и притворно-вежливо добавил:

— Впрочем, и клоун тоже был ничего...

А на арену уже выбегали Нина, Васька и Витя.

Трюк следовал за трюком, сальто-мортале за сальто-мортале, «пассаж» за «пассажем», фордершпрунги за полуфляками, полуфляки за «пируэтами»...

Шел, действительно, прекрасный номер акробатов-вольтижеров — сложный, красивый, с элегантным юмором.

Мальчишка и полный пожилой человек объединились и после каждой комбинации акробатов вместе начинали аплодировать.

Каким-то образом красивый значок пожилого человека с лацкана его пиджака уже перекочевал на старенькую мальчишескую курточку.

Когда номер закончился, и Нина, Васька и Витя стали раскланиваться — мальчишка подмигнул Ваське и украдкой показал на большую фанерную копию циркового значка, висевшего над артистическим выходом.

Кланяясь, Васька скосил глаза на макет значка и тихонько показал мальчишке фигу.

Пожилой человек с удивлением наблюдал за их безмолвным диалогом.

— Родственник? — спросил пожилой.

— Коллега... — ответил мальчишка.

И пожилой с уважением на него посмотрел.

За кулисами мокрых и взъерошенных акробатов встретил униформист с секундомером в руках.

— Четыре минуты сорок семь секунд! — восторженно сказал униформист и протянул Ваське секундомер.

— А вчера? — тяжело дыша, спросил Витя.

— Четыре пятьдесят пять.

— Так вот, — сказала Нина. — Вчера мы ползали по манежу, как сонные мухи!

— Какой кретин назвал нас вольтижерами, хотел бы я знать? — трагически воскликнул Васька. — Четыре сорок семь! Это борьба с удавом! Пластический этюд! Все, что угодно. А нам нужен темп! Номер должен идти не четыре сорок семь, а четыре сорок! Ясно?

— Ясно, — засмеялся Витя. — И все равно, с окончанием!

— Рады стараться! — ответили Нина и Васька. И судя по их физиономиям, они действительно были очень рады.

— С окончанием вас! — сказал униформист.

— Спасибо. И вас также, — ответила за всех Нина.

— Старик! — сказал Васька униформисту. — Ты видел, куда я сажал этого пацана?

— Видел.

— Притащи его в антракте в нашу гардеробную.

— Хорошо.

... Нина в наброшенном на плечи халатике сидела перед зеркалом и снимала грим. Витя — в комбинезоне с ляжками на голое тело уже укладывал костюмы.

Васька стоял в одних трусиках на реквизитном ящике и, подвывая, читал:

Ты как отзвук забытого гимна
В моей странной и дикой судьбе...
О, Кармен! Как мне страшно и дивно,
Что приснился мне сон о тебе...

Нина посмотрела на Ваську увлажненными глазами, а Витя сплюнул и сказал:

— Черт знает, что нагородил! Какое-то больное творчество!

— Это Блок, осел! — яростно крикнул Васька.

— Хорошо, хорошо... Пусть Блок. Я был убежден, что это написал ты. Прости, пожалуйста.

— Боже мой! Кто меня окружает, с кем я работаю!

Васька в отчаянии схватился за голову и сделал пируэт на ящике. Он закончил оборот, продолжая так же держаться руками за голову, но уже совершенно с другим выражением лица.

— Братцы! Как бы нам репетиционную лонжу снять до конца представления? А то ведь запакуемся позже всех.

— Что если попытаться снять ее в антракте? — спросила Нина.

— Правильно, — сказал Витя, — Васька, внимание. Ты надеваешь униформу и в антракте выходишь на манеж. Я со стороны двора лезу на купол, снимаю лонжу и на... Хотя бы вот на этом изумительном капроновом тросе сквозь клапан шапито спускаю лонжу тебе в манеж. Ясно?

Витя снял со стены бухту капроновой веревки толщиной в палец и ловко набросил ее на голову Ваське.

— Гениально! Только униформу надеваешь ты, а на купол лезу я, — сказал Васька и попытался покрутить на шее бухту троса, натягивая на себя комбинезон и старую вытянутую рваную тельняшку.

Нина встала со стула, увидела Ваську в длинной тельняшке, подошла к нему, обняла нежно и поцеловала его в синяк под глазом.

Васька стоял закрыв глаза и боясь пошевелиться.

Нина отодвинула его от себя и, оглядывая с ног до головы, сказала со вздохом:

— Ты мой Бонифаций на каникулах...

Насвистывая «А ну-ка песню нам пропой веселый ветер», Васька шел по закулисной части цирка, лавируя между лошадей, собачек, артистов и реквизитных ящиков.

На голове у него был какой-то немислимый берет, на плече бухта капронового троса.

— Ты куда, Вась? — спросил кто-то.

— На купол, — ответил Васька, — лонжу снять.

Сатаровы уже стояли у занавеса, готовясь к выходу на манеж.

Моросил мелкий противный дождь.

Брезентовый купол шапито лежал на двух стальных балках, укрепленных на верхушках форменных мачт.

Цепляясь и подтягиваясь руками за канат, свисающий с мачты по мокрому и скользкому шапиту, Васька лез наверх.

Он встал ногами на балки и, держась за выступающий конец мачты, немного постоял, переводя дыхание.

Расстояние между балками было не более полуметра.

Потом он сел на балки верхом, свесил ноги по обе стороны купола и сидя стал продвигаться к середине гребня шапито.

Снизу неслась музыка, хохотали зрители, истошно вопил коверный клоун.

— Справа курган,
Да слева курган;
Справа — нога,
Да слева нога;
Справа наган,
Да слева шашка,
Цейсс посередке,
Сверху — фуражка...

— бормотал Васька.

Он верхом доехал да клапана и огляделся.

Сквозь темноту позднего вечера и мелкую сетку дождя город искрился дрожащими огоньками и казался очень большим.

— Рано вы влезли на купол, Василь Васич... — сказал Васька сам себе, и сам же себе ответил. — Что есть, то есть...

— Воздушные гимнасты! Братья Сатаровы! — донеслось снизу.

Васька улегся на брезент между балок, отстегнул клапан и заглянул вниз, в манеж.

Братья Сатаровы — двое высоких здоровых парней — сверху казались короткими и толстыми. Васька видел только их головы, плечи и ступни.

Васька рассмеялся и сделал вид, что хочет плюнуть. Но вот Сатаровы дошли до середины манежа, и Васька потерял их из виду.

Стальные тросы всех лонж, растяжки и блоки — почти вся цирковая «паутина» крепилась в том месте, где находился клапан.

Тросы скрещивались, перехлестывались и расходились от клапана вниз, в разные стороны, слегка провисая под собственной тяжестью.

Васька протянул руку и потрогал серые теплые витки, намотанные на балку. Он сразу же нашел тросик своей лонжи и рядом увидел «восьмерки» и узлы какого-то толстого троса.

Один конец троса заканчивался петлей, которая висела под самой балкой. Петля соединялась с подвесным кольцом блока — «чекелем» — такой стальной подковой, через концы которой проходил толстый винт. Винт замыкал подкову «чекеля».

Блок, висящий на этом «чекеле», принадлежит Сатаровым. Через блок проходил трос от трапеции Сатаровых до лебедки. Лебедка установлена за кулисами и трос от блока спускался прямо в складки занавеса.

Этот блок висел перед васькиным носом и очень мешал смотреть ему на манеж.

За кулисами тот же униформист, которого Васька просил привести мальчишку, сейчас включал рубильник лебедки. Трос начал наматываться на барабан, и Сатаровы стали медленно всплывать наверх, к куполу...

... Васька увидел, как блок, тоненько и непрерывно визжа, стал протаскивать себя сквозь трос, поднимая в воздух сидящих на трапеции Сатаровых.

Левая балка стала медленно покачиваться.

Чем выше лебедка затягивала трапецию с гимнастами, тем визгливее скрипел блок, сильнее подрагивала балка.

Моросило. Васька поежился и продвинулся вперед, закрывая собой отверстие в куполе.

Блок замолчал, движение троса остановилось, но балка продолжала раскачиваться. Сатаровы были где-то рядом, метрах в пяти от Васьки.

Васька опять немного покрутился, чтобы видеть Сатаровых. Ему очень мешал блок. Мало того, что он занудливо скрипел над ухом, он еще закрывал половину васькиного обзора.

Сатаровы раскачивались на трапеции.

Внимательно следил за ними инспектор манежа.

Почти целиком высунулся из-за занавеса униформист.

Пожилой полный зритель и притихший мальчишка смотрели наверх.

Васька проверил, не потерял ли он пассажи и поправил бухту капронового троса на плече.

Внизу под балкой что-то протяжно хрустнуло, и блок сбился со своего ритмичного поскрипывания.

Васька посмотрел на блок и вдруг совершенно ясно и отчетливо увидел тонкую серебристую полоску трещины на сгибе подковы «чекеля»...

... Старший Сатаров висел вниз головой, держа в руках брата.

Резкий размах, рывок, и Сатаров-младший сделал переднее сальто в руках у старшего...

... Балка качнулась, хруст повторился и серебряная трещина сверкнула кристаллами разрывающегося металла.

Васька оцепенело смотрел на маленькую страшную трещину. Еще два-три трюка, чекель лопнет, и Сатаровы с пятнадцатиметровой высоты полетят вместе с блоком, с трапедией, со всеми своими растяжками прямо в ряды зрителей!

Васька заметался, задергался, скривился, словно от зубной боли. Но уже через секунду лицо его окаменело, а движения стали быстрыми, точными.

В этот момент у него было то выражение лица, какое было у его деда в тысяча девятьсот тринадцатом году, когда, стоя под куполом цирка, первый раз сказал:

— Господа!

У Васьки было то выражение лица, какое было у его отца в сорок пятом, когда он, стоя на

крыше мчащегося фургона, бросал гранату в горящий прицеп с боеприпасами.

Не отрывая глаз от трещины, Васька приподнялся и снял с плеча бухту капронового троса. Держа один конец в руках, он кинул в темноту всю бухту.

Веревка мягко закользила по морскому шапиту.

Трясушимися руками Васька продел конец веревки в подвесное кольцо блока.

Уровняв концы веревок, он попытался просунуть их между брезентом и балками. Однако, брезент так тяжело и плотно был прикрыт, что от этого пришлось отказаться.

Тогда Васька намотал капроновый трос на руку, но тут же с отчаяньем сказал вслух:

— Не удержаться мне... За мачту бы зацепиться... За мачту!

Балку качнуло еще раз, и Васька увидел, как чекель стал изменять свою форму, вытягиваться и разжевать серебряную пасть трещины.

И тогда Васька сбросил веревку и лежа обмотал ее несколько раз вокруг своей груди.

Свободные концы он пропустил еще раз через блочное кольцо, завязал их двумя узлами и намотал на левую руку.

Затем он повернулся и лег поперек балок, закрыв собою отверстие клапана.

Плечами и грудью он лежал на одной балке, а животом на другой.

Балка качнулась, и Васька почувствовал, как стал натягиваться капроновый трос.

Васька закрыл глаза и прижался щекой к мокрому брезенту. Он лежал поперек гребня, и ноги его свешивались по одну сторону шапито, а голова лежала по другую.

Сатаровы качнулись, исполнили еще одно переднее сальто и захрустел разрывающийся чекель.

— А-а-ах!

Со страшной силой Ваську рвануло и прижало к балкам.

Под Сатаровыми вдруг сильно просела трапедия.

Сатаров-старший едва удержал брата. Они тревожно перглянулись и оба испуганно посмотрели наверх. Вроде бы все было в порядке.

Для проверки Сатаровы качнулись сильнее обычного и, убедившись, что рывок не повторяется, стали продолжать свой номер.

— Хорош... — выдавил из себя Васька.

В горле у него что-то булькнуло, и он стал задыхаться. Он лизнул мокрый брезент и прислушался: спокойно играла музыка, осторожно аплодировали зрители.

Издали прозвучал голос Сатарова-старшего:

— Ап!

На мгновение Ваську еще сильнее прижало к балкам, и он совсем задохнулся.

Сатаровы исполняли головокружительную «вертушку».

Цирк гремел аплодисментами.

Васька закашлялся. Из уголка рта потекла кровь. Он сплюнул и торопливо глотнул воздух.

Огоньки города лежали под ним и сливались в дрожащие желтые нити.

Ваську стало подташнивать и он снова лизнул мокрый, холодный брезент.

Сатаровы, трапеции, блок и стальные тросы растяжек весили очень много, но Васька уже почти не чувствовал этой тяжести, а ждал исполнения трюка, от которого вес увеличивался вдвое, дыхание прекращалось, а рот наполнялся горячей и соленой кровью.

Раскачивался блок на капроновом тросе, рядом, чудом зацепившись, висел разорванный чекель.

А Сатаровы уже исполняли свой финальный трюк.

Новый рывок, новая боль и долгие аплодисменты вернули Ваську откуда-то издалека на купол черного и мокрого шапито.

Цирковой оркестр играл вальс.

И Васька услышал, как завизжал блок, опускающая Сатаровых на манеж.

Нарастающие аплодисменты сняли с Васьки огромный вес. Он вздохнул, сплюнул кровью и, уютно прижавшись щекой к куполу, сказал:

— С окончанием...

Это ему показалось забавным и он улыбнулся.

И потерял сознание...

В больнице, у входа в хирургическое отделение, сидела старуха в белом халате и недобро поглядывала на Нину, Витю и Сатаровых.

— Вы понимаете, — сказал Сатаров-старший, — мы из цирка...

— Это нам все едино, — ответила старуха. — Хоть из цирка, хоть из церкви. Не положено.

Дверь отделения открылась, и вышел врач в белом халате с закатанными рукавами.

Старуха сидела как изваяние.

Врач закурил сигарету, затянулся и спросил:

— Вы из цирка?

— Да, — ответила Нина.

— Родственники?

— Почти, — сказал Сатаров-младший и потрогал свою верхнюю губу.

Доктор оглядел всех четверых и улыбнулся.

— Что с ним? — спросила Нина.

Доктор стряхнул пепел и ответил:

— Температура нормальная. Состояние так себе... Сломаны три ребра, ключица... Сильно помята грудная клетка. Я уже не говорю о рваных ссадинах на спине и частичном разрыве связок левого лучезапястного сустава. Вот такие-то дела, товарищи почти родственники.

— Простите, доктор, он скоро поправится? — спросил Витя.

— Скоро, — ответил доктор, глядя на Нину. — Месяца через полтора я его выпишу. Недель шесть-семь минимум. Дня через три его можно будет навестить.

— Я остаюсь, — сказала Нина Вите. — А ты лети в Москву и пока оформляй нам отпуск.

— Хорошо. Спасибо, доктор. Досвидания.

— Всего хорошего, — сказал доктор. — Не волнуйтесь, ничего страшного.

— Теперь мы уже не волнуемся, — сказала Нина.

Она взяла Витю под руку и повела его к выходу. Сатаровы молча пошли за ними.

Когда доктор вошел в палату, он увидел, что Васька лежит неподвижно на спине и держит губами белый целлулоидный мячик от пинг-понга.

Васька надул щеки и резко выдул воздух: мячик взлетел вверх почти на метр, и, когда он падал вниз, Васька поймал его ртом.

Так он сделал несколько раз, и доктор не выдержал:

— Слушайте, чем это вы занимаетесь?

Васька что-то промычал, затем выплюнул мячик и ответил:

— Вот черт! Чуть не подавился! Знаете, доктор, мне говорили, что во Франции есть человек, который ртом жонглирует тремя такими мячиками. Я думал врут. А теперь мне совершенно ясно, что это возможно. Противно, но возможно...

Васька взглянул на потрясенного доктора и добавил:

— Уж больно жанр негигиеничный!

— Так... — растерянно сказал доктор. —
Очень, очень интересно...

Он посмотрел на Ваську как на седьмое чудо света и неверными шагами вышел из палаты.

Тут же в окне появился сначала скрипичный футляр, а затем и сам мальчишка.

— Ушел? — спросил мальчишка.

— Ушел, — ответил Васька.

Мальчишка нахально уселся на подоконник и, продолжая прерванный разговор, деловито сказал:

— Ну хорошо. К значку мексиканской олимпиады я могу добавить юбилейный артековский. Устраивает?

Васька улыбнулся. Мальчишка впервые заметил у него синяк под глазом.

— Что это у тебя? — спросил мальчишка и показал пальцем на синяк.

— А, это? — Васька тихонько потрогал синяк. — Здорово видно?

— А то! Чем это?

— Рубил лес — отлетела щепка. Травма на производстве.

— Не заливай, — строго сказал мальчишка.

Васька посмотрел на мальчишку и улыбнулся.

— Послушай, старик... Только ответь мне честно. Тебе никогда не хотелось работать в цирке?

Впервые мальчишка смутился, пожал плечами.

— Нет... То есть я никогда об этом не думал.
А что?

— Да нет... Ничего. Я просто так спросил.

— Но знаешь, — сказал мальчишка и рассмеялся. — Мой дедушка рассказывал, что когда-то, очень-очень давно, когда он еще был пацаном, он чуть не уехал навсегда из этого города с одними французскими циркачами на лошади.

— Замечательно, — вежливо сказал Васька.

— А почему ты меня спросил о цирке? — сказал мальчишка.

— Не знаю, — мягко сказал Васька и уставился в потолок. — Просто мой дед, мой отец и я сам, наверное, не смогли бы и дня прожить без цирка. Вот я и подумал, что если когда-нибудь у меня будет сын...

Очень

длинная

неделя

Телеграмма пришла рано утром. Секретарь директора цирка расписалась в книге реестров и, возвращая книгу почтальонше, удивленно спросила:

— А где же остальная почта, Анна Марковна?

— Остальная будет позже, — сказала Анна Марковна. — Это срочная... Проставьте время, Зиночка!

Анна Марковна ушла, мягко ступая лыжными ботинками, а Зиночка распечатала телеграмму.

Она бросилась было в кабинет директора, но вспомнила, что директора еще нет, и побежала вниз по лестнице. Выскочив в холодное круглое фойе и не найдя там никого, Зиночка отдернула занавес центрального прохода в зрительный зал.

На манеже женщина в бигуди, свитере и комбинезоне с ляжками учила маленькую испуганную собачку делать сальто-мортале.

— Валентина Петровна! — крикнула Зиночка, и купол тревожно повторил ее крик. — Карцев не приходил?..

— Что вы, Зиночка! — певуче ответила женщина, и собачонка присела от страха. — Они с одиннадцати...

Зиночка опять побежала к себе наверх. На последних ступеньках лестницы она увидела спину директора.

— Николай Константинович! — задыхаясь, сказала Зиночка. — Николай Константинович...

Директор обернулся.

— Здравствуйте, Зинаида Ивановна, — сказал он. — Почта была?

— Была почта! — отчаянно выкрикнула Зиночка. — Такая почта!..

— Какая такая?.. — спросил директор и увидел в Зиночкиных руках дрожащий листок.

— Дайте сюда. — Директор осторожно взял телеграмму.

Он пробежал глазами по строчкам:

— Господи... черт возьми... Что же теперь делать?.. Как же ему сказать?..

Директор растерянно посмотрел вокруг себя:

— Он не приходил?

— Нет. У него репетиция с одиннадцати...

— Зиночка, — сказал директор и застегнул пиджак на все пуговицы. — Немедленно позвоните к нему в гостиницу, ничего не говорите, скажите, что я вызываю его срочно к себе.

— В каком он номере?

— Узнайте у Гефта... Он их расселял. Если Гефта нет, просто позвоните администратору гостиницы...

Гефта не было. Зиночка позвонила в гостиницу и спросила у администратора, в каком номере живет Карцев Александр Николаевич.

— Александром Николаевичем столько девиц интересуется, — раздраженно сказал администратор, — что мы уже устали отвечать на их вопросы.

— Я вам не девица! — крикнула Зиночка в трубку. — Я секретарь директора цирка!..

— Простите, — сказал администратор. — Я не знал. Карцев проживает в четыреста тридцатом.

Зиночка опять набрала коммутатор гостиницы и попросила четыреста тридцатый.

— Алло, — раздался хриплый голос Карцева.

— Шура... — сказала Зиночка.

— Ларка! Это свинство! — вдруг сказал Карцев. — Ты же знаешь, что у меня в одиннадцать репетиция, а я только что лег. Какого черта?

Зиночка захлебнулась от злости и жалости к самой себе.

— С вами говорит секретарь директора цирка, Зинаида Ивановна!

— Зи-ноч-ка! — удивленно пропел Карцев и закашлялся. — Ради бога, извините...

— Шурик, — быстро сказала Зиночка, и ей опять захотелось плакать. — Немедленно явитесь к Николаю Константиновичу!

— Зинуля, позвоните лучше Славину, — сказал Карцев, и было слышно, как он зевнул. — Весь вчерашний скандал с этим кретином по технике безопасности выеденного яйца не стоит...

— Шура! — закричала Зиночка. — Немедленно приходите в цирк. Никакая здесь не техника безопасности!..

Карцев пришел минут через пятнадцать.

— Что стряслось? — тихонько спросил он и сунул Зиночке шоколадку.

Зиночка ничего не ответила и указала на кабинет директора. Карцев пожал плечами и постучал в дверь.

— Ты лети, — сказал директор цирка. — Тебе сейчас важно быть там... Я позвонил в Ленинград Соловьеву... Что нужно будет, заминка какая-нибудь — сразу к нему. У него знаешь какие связи...

Директор нажал кнопку, и в кабинет вбежала Зиночка, пугливо глядя на Карцева.

— Закажите мне Ленинград. Срочный, — сказал директор.

Всю дорогу от города до аэродрома в ушах Карцева стоял голос циркового экспедитора Гефта, который доставал Карцеву билет в Ленинград.

— Ну и что, что факт смерти на завершен! — кричал Гефт и потрясал телеграммой. — Ну и что? Смотрите на нее! Факт смерти ей не завершен!.. Не дай вам бог получить такой незавершенный факт!.. Чтоб вы всю жизнь не имели таких телеграмм!.. Мы снимаем лучший номер с программы, и мы не спрашиваем, завершен факт или

не заверен!.. Что вам нужно заверять, что, я вас спрашиваю?!..

...Карцев не любил Веру. Он разошелся с ней года три тому назад и с удовольствием рассказывал о прекрасных отношениях со своей бывшей женой. Это заметно выделяло его из общего числа разведенных, которые кляли своих жен и выставляли напоказ свое холостячество, возвращенное, наверное, дорогой ценой.

А отношения были действительно хорошие. И Карцев и Вера словно освободились из длительного безрадостного заключения и теперь были по-хорошему благодарны друг другу. Они наперебой заботились о Мишке, который то несколько месяцев ездил по циркам с Карцевым, то отдыхал с Верой где-то на юге. Мишку это чрезвычайно устраивало. И только одного Мишка никак не мог уразуметь: когда же они опять станут жить все вместе — папа, мама и он, Мишка? Мишке было шесть лет.

Боже мой, что же теперь делать?.. Как же это все произошло? Что же там такое случилось?.. А может быть, ошибка?.. Может быть, все это ошибка?.. И Карцев вдруг с холодным отвращением понял, что он никакой ошибки не хочет. Фу черт! Какая дрянь в голову лезете.. Надо же!..

— Полет состоит из взлета и посадки, — сказала бортпроводница. — И продлится всего пять-

десять минут. Поэтому просим вас воздержаться от курения до прибытия в аэропорт назначения.

Курения — назначения... Аэропорт — аэропорт... Нет, напрасно их назвали бортпроводницами. «Стюардессы» лучше. «Бортпроводница» — это что-то наглухо застегнутое. Хорошие у нее ноги, у этой бывшей стюардессы, ныне бортпроводницы... У Веры очень хорошие ноги. Длинные, красивые ноги у Веры...

— Конфетку не хотите?

— Нет. Спасибо.

На шее у бортпроводницы висела тоненькая золотая цепочка. Крестик там, что ли?

— Это чей экипаж? — спросил Карцев. — Аэропорта отправления или аэропорта назначения?

— Назначения, — улыбнулась бортпроводница. — Возьмите конфетку.

— Спасибо. Не хочу.

Не хочу ни о чем думать! Ничего не хочу...

Десять лет тому назад Карцев стоял на балконе бассейна и тоскливо смотрел в дрожащий зеленоватый кафель дна. Над кафелем то и дело проплывали разноцветные шапочки, оставляя за собой трехсекундный белый бурун вспененной воды. Это мешало Карцеву созерцать тихую дрожь зеленого кафеля, и Карцев лениво злился. Он уже давно ждал Юрку Самохина, тренера по прыжкам в воду. Карцев еще тогда в цирке не работал. Он уже был мастером

спорта, по акробатике и учился на последнем курсе института физкультуры. И когда наконец подошел Юрка, Карцев обернулся к нему и сказал:

— Ну ты даешь, кореш... Сколько можно? Час, два, но не три ведь... Всему есть предел.

Юрка стал оправдываться, говоря, что старший тренер, такая собака, требует отчетность, документацию, списки разрядников и сам не знает, чего хочет... Например, только сейчас говорил сорок минут про то, как методически правильно строить секционные занятия, будто, кроме него, никто ничего не знает, будто все лопухи, ушами не шевелят и мышей не ловят... Будто он один на всем свете знает, как нужно учить в воду прыгать...

Карцев тоскливо разглядывал высокую длинноногую пловчиху без шапочки. Все были в шапочках, в она без шапочки. Только поэтому он и обратил на нее внимание.

— Это кто? — спросил Карцев.

Юрка, обрадованный тем, что его задержка автоматически прощается, суетливо зашептал в ухо Карцеву:

— Углядел, да? Будь здоров!.. Верочка Сергиевская, из Москвы... Недавно к нам перевелась. Представляешь? С третьего курса инфизкульты на первый курс медицинского!..

— Перворазрядница?

— Что ты! Мастер!.. В первой пятерке Союза!..

— Чего это ее из столицы к нам, в колыбель революции, потянуло? — лениво спросил Карцев.

— По личным мотивам, — значительно ответил Юрка. — Ну, идем?

— Идем.

В этот вечер они были приглашены в дом одной парикмахерши, родители которой уехали на дачу. Парикмахерша обещала привести подругу...

Ведь все было так хорошо! Так вроде бы все наладилось... Даже размен квартиры, ради которого Карцев в прошлом году прилетел из Иркутска, и тот прошел тихо, спокойно, даже с некоторым налетом пижонства. Карцев и Вера весело ездили по коммунальным квартирам, осматривали комнаты, подшучивали друг над другом, были предупредительны, любезны и так несерьезно и мило сообщали о причинах размена, что недоверчиво-любопытные квартирные старушечки становились еще более недоверчивыми и даже представить себе не хотели, что два таких хороших человека не могли ужиться в отдельной квартире с ванной и телефоном. Вера была обаятельна и уступчива, Карцев остроумен и широк, и им обоим нравилось производить такое впечатление на посторонних. А за всем этим у Карцева и, пожалуй, у Веры стояла густая тоска и безумное желание скорее, скорее разъехаться и наконец начать все сначала...

— Пристегнитесь ремнями, — сказала бортпроводница Карцеву. — Скоро посадка. Конфетки не желаете?

— Не желаю, — ответил Карцев и послушно пристегнулся ремнями. — Я и посадку не желаю...

— Так в авиации не говорят, — строго сказала бортпроводница.

— Простите меня, пожалуйста... Это я, наверное, не про посадку.

Вера вообще обладала способностью нравиться посторонним людям. И поэтому во всех их семейных неурядицах знакомые винили Карцева, его легкомыслие, непрактичность, разбросанность. Да мало ли в чем обвиняли Карцева! Дома же Вера была человеком жестким и недобрим. Даже ее мать, которую Вера вызвала из Москвы, когда родился Мишка, боялась ее и частенько тихо поплакивала. Изредка старуха напивалась и тогда плакала громко, с криками, угрозами, с обещаниями плюнуть всем в харю и завтра же уехать в Москву! К старшей дочери, к Любочке. Люба и маленькой была тихой и доброй, не то что эта злыдня, которая, смотрите пожалуйста, уселась на диване, как ворона на мерзлом дерьме, сунула в рот папироску, и страдания матери ее и не касаются вовсе!.. Нет! Завтра же к Любе!..

Но наступало утро, и притихшая старуха затевала грандиозную оправдательную уборку, перестирывала все Мишкино барахлишко и уже к концу дня страдальчески охала и демонстративно искала по всей квартире валидол...

Любу, наверное, тоже вызвали...

Она была замужем за Колей Самарским, полковником, преподавателем какой-то военной академии. И Любе и Коле было по сорок, но Коля выглядел моложе и был красив той породистой, интеллигентной красотой, которая неожиданно встречается в самых простых семьях.

Жили они образцово: Люба работала экономистом в одном техническом издательстве, Коля готовил докторскую диссертацию и знал все, что должно с ним произойти в ближайшие несколько лет. Зимой они регулярно ходили на лыжах, а летом отдыхали на юге. И, несмотря на то что каждая такая летняя поездка заставляла Колю влезать по уши в кассу взаимопомощи, Коля был доволен и рад за себя и за Любу. К Карцеву Коля относился просто и благожелательно. Ему нравилось, что Карцев артист цирка, и Коля подолгу и с интересом расспрашивал Карцева о том о сем... В чем-то Коля даже завидовал Карцеву. То ли тому, что Карцев подолгу живет один, без жены, то ли постоянной возможности Карцева к «перемене мест», то ли ежевечернему зримому признанию успеха Карцева, то ли еще чему. Однако Карцев яснее ясного понимал, что, если бы Коле предложили поменяться положением с ним, с Карцевым, Коля отказался бы наотрез. И не потому, что Коля любил свою науку больше всего на свете, а просто потому, что Колино положение солиднее, звание убедительнее, перспективы яснее, да и что душой-то кривить — денег больше... А деньги были очень нужны! Не Коле. Любе. Они нужны были на новую мебель, на немецкую кух-

ню, на какие-то потрясающие замшевые туфли, на дорогой финский костюм для Коли, на тысячи разных необходимых мелочей.

Ни жадности, ни бабского накопительства — все в дом, все в дом! — у Любы не было. Она искренне считала, что положение обязывает и что если жить, так не хуже других. Поэтому вечные нехватки денег у Веры и Карцева Люба воспринимала без сожаления, называя это «неумением жить».

Вера была часто должна Любе. Карцева это нервировало и раздражало, он незаслуженно восставивался против Любы и при посещении их дома, из-за боязни показаться бедным родственником, вел себя фальшиво, с каким-то дурацким веселым превосходством и преувеличивал свои настоящие, а тем более будущие заработки. По всей вероятности, Веру мучило то же самое, потому что она невольно подыгрывала Карцеву во всем и даже позволяла себе вслух иронизировать над своей «затянувшейся полосой временных затруднений».

В такие минуты Карцев был благодарен Вере, хотя и знал, что пройдет час-другой, они останутся с Верой вдвоем, напряжение спадет, защищаться будет не от кого и от «затянувшейся полосы временных затруднений» не останется никакой иронии. Вера будет плакать и говорить злые и обидные слова. А если Карцев неосторожно попробует ей напомнить, что она еще вчера смеялась над суетливым мещанским благополучием какой-нибудь там Мирочки Шевелевой,

Вера станет некрасивая и обязательно закричит, что он, Карцев, ей вообще никакого благополучия создать не может. Пусть-ка он попробует заработать столько, сколько зарабатывает Мирочкин муж! И тогда Карцев тоже закричит, что Мирочкин муж жулик и ворюга, а он, Карцев, воровать не пойдет, даже если им придется сдохнуть с голоду!

Он, наверное, скажет что-нибудь еще — неумное и не обидное для Веры и мучительное для самого себя. Потом он будет молча проклинать себя за то, что женился на Вере, на женщине старше себя, которая просто плохо к нему относится. Он будет завидовать Мирочкиному мужу, вовсе не жулику и не ворюге, а милому глуповатому Мите Шевелеву, конструктору какого-то не очень таинственного ОКБ...

— Вам куда? — спросил шофер такси.

— На Васильевский... — сказал Карцев.

— Не возражаете прихватить кого-нибудь по дороге?

— Пожалуйста.

Шофер открыл дверцу и крикнул в длинную очередь:

— Кому на Васильевский?..

Правильно. Нужно ехать именно на Васильевский... Не домой, а именно на Васильевский, где после развода Вера жила с матерью и Мишкой. Мишка там, и нужно ехать туда.

Открыла теща. Глаза ее сразу же наполнились слезами. Она обняла Карцева, повисла на нем и слабо закричала:

— Шуренька!.. Шуренька!.. Пропала моя доченька, пропала!..

Карцев беспомощно погладил ее по голове:

— Тихо, тихо, мама... Мишку напугаете...

Теща всхлипнула и застонала:

— Сидит, маленький, сиротинушка моя, да все про мамочку спрашивает!..

Карцев почувствовал, что теща врет. Он отстранил ее и пошел в конец длинного коридора. Он шел, и за его спиной тихонько приоткрывались двери соседних комнат.

Когда Карцев распахнул дверь, Мишка растерянно улыбнулся и слез с дивана. Он стоял загорелый, коротко постриженный и поэтому немного чужой. Карцев шагнул вперед, и что-то горячее подступило к глазам и перехватило горло. Мишка стал расплываться и терять очертания. Карцев судорожно втянул сквозь стиснутые зубы воздух и, спасая себя, подхватил Мишку на руки.

— Папа... — сказал Мишка и затрепыхался.

Но Карцев еще сильнее прижал его к себе и зарылся лицом в несвежую Мишкину рубашонку. Мишка затих, и Карцев слушал, как мелко и часто стучало его сердце...

В субботу Вера отпросилась у своего шефа — заведующего кафедрой невропатологии профессора Зандберга — за час до общего окончания работы.

Зандберг сидел в ординаторской и пил холодный чай вприкуску. Рукава халата у него были закатаны по локоть, открывая толстые веснушчатые руки, густо поросшие седыми волосами.

— Что-нибудь дома? — спросил Зандберг. — Мишка заболел?

Он любил Веру и считал ее самым способным аспирантом на кафедре. Ему нравилось, что Вера мастер спорта по плаванию, и он часто этим хвастался.

— Тьфу, тьфу... — сплюнула Вера. — Слава богу, его нет в городе.

— Почему «слава богу»? — удивился Зандберг.

— Пыль, жара...

— Он опять гастролирует по циркам? С вашим... бывшим?

Вера улыбнулась:

— Нет. Они с мамой в Осташкове. На Селигере...

— А-а-а... — протянул Зандберг. Ему было жарко, скучно и хотелось поговорить. — Так куда же вы торопитесь?

Вера посмотрела на часы.

— Давид Львович, если вы еще хоть раз скажете «а-а-а...», то мне будет некуда торопиться. Я повсюду опоздаю...

— У вас роман? — спросил Зандберг и вкусно захрустел сахаром.

— Ох, если бы!.. — вздохнула Вера и стала снимать халат. — Я еду на рыбалку.

Зандберг с уважением посмотрел на Веру. Ему всю жизнь хотелось ездить на рыбалку, жечь

ночью костер в лесу и по утрам дрогнуть в провисшей от сырости палатке. И он никогда этого не делал.

— У вас роман... — с завистью сказал Зандберг.

Нет, конечно, это был не роман...

Берта, или, как ее называли, Большая Берта, давняя приятельница Веры, наконец вышла замуж. Этот факт всем казался невероятным. В том числе и самой Берте. Ее устрашающие размеры и ничем не прикрытое желание выйти замуж сегодня, сейчас, немедленно, сию минуту и за кого угодно удерживали мужчин даже от элементарной вежливости. Ей просто не рисковали подать пальто. И поэтому, когда Берта наперекор всему все-таки вышла замуж, она стала таскать своего мужа ко всем друзьям и знакомым. Во-первых, для того, чтобы насладиться так горячо и давно желаемыми поздравлениями, а во-вторых, чтобы показать мужу, как она любима и почитаема в так называемых «приличных» домах. А так как к Берте все относились действительно хорошо, то уже через полторы недели муж Берты — пухлый тридцатилетний Алик — почти оправился от потрясения, вызванного собственной женитьбой. Ему нравились друзья Берты — врачи, юристы, актеры. Он уважал значительность их положений и чуточку презирал за отсутствие свободных денег. Алик был мясником.

Берта таскала Алика за собой повсюду, и у Веры они бывали чаще, чем у других. Однажды Алик привел знакомого — полупьяного тихого хоккеиста Сережу Рагозина. Алик молол глупос-

ти, Берта шумно хохотала, а Рагозин молчал и смущенно покачивал головой. И только в конце вечера он увидел над столом давнишнюю фотографию Карцева и удивленно спросил:

— Это что, Карцев?

— Вы его знаете? — спросила Вера.

— Он сейчас в цирке работает... — сказал Рагозин.

— Он ей будет рассказывать! — крикнул Алик, и Берта захохотала.

Рагозин непонимающе посмотрел на Алика.

— Это мой муж, — сказала Вера. — Карцев мой бывший муж.

— Она же Карцева! — крикнул Алик. — Понял? Карцева!..

Потом Алик и Берта еще несколько раз приходили с Рагозиным, в потом Рагозин пришел один и весь вечер рассказывал Вере о том, как он играл в команде мастеров и как это было хорошо, а теперь «стучит» в простой и бедной заводской команде, и как это плохо. Он и не скрывал, что все эти грустные превращения произошли с ним из-за водки, и горько сетовал на приятелей, на болельщиков и на самого себя. Рагозин был еще моложе Карцева, и Вера тоскливо думала, что ей, видно, всю жизнь придется шефствовать и идти впереди. А ей хотелось идти сзади, след в след, подчиняясь умной и сильной воле, и чувствовать себя женщиной. Не мужественной женщиной, а просто женщиной... Мужественной она уже была. Хватит.

А еще через несколько месяцев Рагозин привел к Вере хорошенькую девочку лет двадцати с намазанными глазками. Он вывел Веру на кухню и сказал, что хочет жениться на этой девочке. Вера и пожалела Рагозина, и обрадовалась. Ей казалось, что Рагозину нужна не такая жена, такие у него уже, наверное, были. Но все же она была рада. Сложившиеся к тому времени отношения между нею и Рагозиным так и останутся приятельскими, и, может быть, в этом залог спокойствия Веры.

Рагозин женился и теперь все вечера просиживал у Веры уже с женой. Он почти не пил и, казалось, был всем доволен. Понимал ли он тогда всю двойственность положения или не понимал, черт его знает! Иногда, в самый неподходящий момент, глядя на то, как Рагозин сидит в кресле и читает, пришептывая и шевеля губами, Вере хотелось подойти к нему, обнять и потереться щекой о его большие обветренные руки. Но рядом сидело хорошенькое существо, и только оно одно имело право тереться щекой о его руки и класть голову на его плечо...

И Вера говорила себе, что она просто старая одинокая дура и, если ей уж так хотелось всего того, на что сейчас имеет право эта девочка с четко проглядывающей зверушечьей хищностью, она, Вера, могла получить намного раньше — стоило только шевельнуть пальцем. Теперь поздно, и слава богу. В конце концов все твои достоинства в тридцать три никому не нужны.

Нужны недостатки в двадцать. Недостатки двадцатилетних очень удобно объяснять и прощать...

Часа за два до разговора Веры с Зандбергом в клинику позвонил Рагозин.

— Вер... А Вер... Поедем на рыбалку?.. — слегка заикаясь, сказал он.

— Опять дома худо? — спросила Вера, и в эту минуту ей вдруг до боли захотелось увидеть Карцева, услышать его голос, смех, шаги... И Мишку, который так похож на Карцева.

Рагозин промолчал.

— Ну что ты молчишь? — раздраженно сказала Вера. — Говори что-нибудь!

— Ну поедем, Вер... — тоскливо сказал Рагозин.

Последние полгода ему было очень плохо. В доме творилось черт знает что, и Рагозин опять начал пить. Его отчислили с тренировочных сборов и, кажется, выгнали с работы.

— Хорошо, — сказала Вера. — Я буду на вокзале в три часа.

— Нет, Вер... — слабо запротестовал Рагозин. — Поздно. Давай подгребай к часу... А то опять лодку не достанем. Этот хрыч их в один момент раскассирует... Он за «маленькую» удавится.

— А ты? — зло спросила Вера и тут же пожалела Рагозина.

Рагозин чуточку помолчал и тихо сказал:

— Давай к часу... А, Вер?..

В понедельник Вера не пришла в клинику. Во вторник тоже. В среду Зандберг сам позвонил к Вере домой. Соседи ответили, что ее нет дома с субботы. В субботу она прибежала раньше, чем обычно, переделалась — будто за город собиралась ехать, — пошарила в почтовом ящике и умчалась, сказав, что ее не будет до завтрашнего вечера.

На кафедре начался переполох. Зандберг звонил в милицию и выкрикивал в трубку свои титулы; ординаторы и ассистенты растерянно припоминали все, что составляло известное им Верино существование, по углам судачили санитарки.

В четверг в клинику пришел пожилой медлительный человек, следователь районного отдела милиции, и три часа опрашивал весь персонал кафедры, а потом предложил Зандбергу вызвать в Ленинград бывшего мужа пропавшей, артиста Карцева. Может, она и не пропавшая? Может, она к нему уехала? Всякое бывает, товарищ профессор...

За два дня до приезда Карцева мать Веры прислала телеграмму, в которой просила Веру встретить их с Мишкой. Они приезжают с дачи. Соседи получили телеграмму и поехали на вокзал. На вокзале старуха заподозрила неладное. Когда дома ей рассказали об исчезновении Веры, она заголосила, забилась головой о стол и протяжными криками стала проклинать свою судьбу, которая ни в чем не дает ей спуска...

Потом пошли совершенно кошмарные дни. Мишку отправили в Лугу, к кому-то на дачу, Карцев и теща часами сидели в серых приемных отделениях милиции в ожидании хоть какого-нибудь известия. И наконец однажды утром услышали, как оперативный уполномоченный кричал в трубку веселой деловой скороговоркой:

— Мне директора цирка! Товарищ директор? Вас беспокоит капитан Банщиков из уголовного розыска! Вас беспокоит капитан Банщиков из уголовного розыска!.. Да, из уголовного розыска!.. Тут, товарищ директор, у одного вашего артиста, у Карцева, — знаете такого? — трагическое несчастье произошло... А, вы уже знаете? Так вы не могли бы ему машинку на денек дать, на опоздание съездить? Вроде нашли, да сомневаемся... Знаем мы, знаем ваше автохозяйство! Вы ж по сравнению с нами миллионеры! Так, значит, Карцев зайдет к вам!..

— Вы мамашу отправьте домой, — сказал Карцеву капитан Банщиков.— А сами маленько задержитесь... Идите, идите, мамаша. Отдыхайте...

Капитан чуть было не сказал «и не волнуйтесь», но запнулся и добавил:

— А товарищ... значит, Александр Николаевич вам потом все-все расскажет...

Карцев поднял обессиленную старуху и повел ее к выходу.

— Шуренька, родненький ты мой!.. — заплакала старуха. — Найди ее, сыночек... Привези ее, какая есть!..

— Да подождите ж вы, мама, — не слыша своего голоса, сказал Карцев. — Раньше времени...

— Нет... нет... — тихонько выкрикнула старуха. — Не живая она, не живая! Не живая моя доченька!..

...Это произошло в Лосеве. Может быть, не с ними, не с Верой и Рагозиным, может быть, с «неизвестным иужчиной» и «неизвестной женщиной», но произошло. И именно в ту субботу. И как раз спустя столько времени, сколько нужно для того, чтобы, в час дня выехав из Ленинграда, доехать до Лосева, пройти пешком до Верхнего озера, взять лодку, сесть в нее, выслушать все предостережения уже пьяного лодочника: «Только до быков, храни господь, не doplывать, потому как в проток, под мост затянет — ни в жисть не выгребешь!..» — а затем еще двадцать минут и... все.

— Там два моста, понял? — сказал капитан Баншиков и нарисовал на клочке бумаги что-то похожее на колбу от песочных часов. — Это Верхнее озеро... — И Баншиков красивым детским почерком на одной половине колбы написал: «Верхнее озеро». — А это Нижнее... — И на другой половине написал: «Нижнее озеро». — Понял? Тут горловина узкая-узкая... Метров пятьдесят. — Баншиков указал на соединение двух половин

колбы. — Вода из Верхнего озера идет в Нижнее, понял? Какое течение здесь получается теперь, понял? Это же жуткое течение!.. Здесь быки... — Банщиков аккуратно нарисовал несколько крестиков по одной линии, перегородив ими суживающуюся часть Верхнего озера, и вынул сигареты. — К ним, понимаешь, и приближаться-то нельзя, а они... у тебя спички есть?

— Зажигалка...

Банщиков оживился, повертел зажигалку в руках и спросил:

— Бензину надолго хватает?

— Это газовая... «Ронсон».

— Ну да? — округлил глаза Банщиков и отдал зажигалку Карцеву. — Ничего себе уха! Ну-ка, чиркни сам...

Карцев чиркнул, и Банщиков прикурил.

— Откуда такая?

— Из Бельгии.

— Выступал там? — с интересом спросил капитан.

— Работал четыре месяца.

— Мы тоже в прошлом году в Чехословакии были... Двенадцать дней... От обкома комсомола группа. Тоже здорово было!

Карцев взял в руки рисунок. Банщиков отобрал у него рисунок и снова вооружился карандашом.

— А теперь смотри, — задумчиво протянул Банщиков. — То ли их течением сюда снесло, то ли понадеялись, что выгребут...

Банщиков перечеркнул горловину двумя коротенькими черточками.

— Это два моста, железнодорожный и шоссейный. На железнодорожном в эту минуту была как раз смена караула, так что, считай, три человека — разводящий и двое часовых — видели все это дело своими глазами.

— Что же они смотрели, твои разводящие? — зло спросил Карцев и почувствовал дикое желание схватить этого Банщикова за расстегнутый китель и тряхануть его так, чтобы у того руки и ноги заболтались, как у тряпичной куклы.

— Ахнуть не успели, — печально и строго сказал Банщиков. — Ахнуть... Понял?

Он застегнул китель и придавил сигарету в пепельнице.

— Лодка как пуля проскочила под шоссейным мостом... Как пуля. Женщина выпрыгнула первая. Ее сразу под воду затащило. Может, об камни ударило. Там камни знаешь какие? Мужчина — метров через тридцать... Там весь проток с гулькин нос. И тоже сразу под воду ушел... У нас там знаешь сколько народу каждое лето гибнет? Жуткое количество!.. Просто жуткое! Лодку на четвертый день прибило, а трупы только позавчера всплыли. Считай, одиннадцать суток в воде пробыли... Надо бы их к нам, сюда, было транспортировать, да документов никаких не обнаружили и отправили в приозерский морг. Это километров шестьдесят отсюда. Все же ближе, чем до Ленинграда...

Банщиков порывлся на столе, нашел какой-то список и протянул его Карцеву:

— Опись вещей, найденных в лодке... Посмотри, может, чего помнишь.

— Откуда?.. — махнул рукой Карцев. — Я с ней больше года не виделся.

— Ты погляди, погляди, — сказал Банщиков. — За погляд денег не берут.

Нет, знакомых вещей не было. Ничего он не знал ни про чехлы для удочек, ни про мешочки полиэтиленовые... Вот только, может, пункт номер четыре: «Коробка пластмассовая красного цвета». Да и то вряд ли... Мало ли на свете красных коробок?..

— Ничего я тут не знаю, — горько сказал Карцев. — Была у нас когда-то коробочка красная... Я ее в «Пассаже» лет восемь назад купил.

— Ну-ка, нарисуй форму, — попросил Банщиков.

Карцев нарисовал.

— Точно! — сказал Банщиков, повернулся к сейфу и вытащил оттуда красную пластмассовую коробочку. — Она?

«Шурка! Глупая ты моя головушка! — сказала тогда Вера. — Ну на кой черт ты купил эту красную коробку? Ты что, лозунги на ней собираешься писать, что ли? У меня сердце разрывается, когда я вижу, в каком пальто ты ходишь, а ты тратишь деньги на совершенно бессмысленные вещи...»

«Я ж тебе ее купил...» — мрачно сказал Карцев. Вера вздохнула и с жалостью посмотрела на него. Карцев тогда очень обиделся.

— Ваше имя, отчество? — спросил его по телефону Зандберг.

— Александр Николаевич, — ответил Карцев.

— Вы поедете на опознание, Александр Николаевич?

— Да.

Зандберг помолчал. Он искал форму вопроса, который исключал бы никчемный трагизм. Он не мог спросить: «А если это Вера?..»

— А если предположения милиции подтвердятся? — спросил Зандберг и вдруг почувствовал всю глупость найденной формы. Уж лучше бы он спросил: «А если это Вера?..»

— Тогда я привезу ее сюда, — сказал Карцев.

— Александр Николаевич... — Голос Зандберга дрогнул, и Зандберг откашлялся. — Если все действительно так...

Он опять не мог сказать: «Если это действительно Вера...»

— Я привезу ее, — повторил Карцев.

— Прямо сюда... В клинику... — быстро заговорил Зандберг. — Я немедленно обо всем распоряджусь. Вы знаете, где клиника?

Директор цирка дал машину, и шофером у этой машины был молчаливый толстый парнишка с фамилией Человечков. Звали Человечкова Васей.

— Скоро Лосево... — сказал Вася. — Километра три, что ли.

Нужно обязательно что-то в кузов положить... Обязательно нужно положить что-то в кузов!.. Сено нужно. Побольше сена. И прикрыть чем-нибудь. Прикрыть, наверное, дадут чем-нибудь...

— Ну-ка, притормози, — сказал Карцев. — Давай из этой копнухи сена нагребем.

— А если кто увидит? — спросил Вася и притормозил.

— Ладно тебе. Вылезай.

Ну вот. Сена, пожалуй, хватит. А прикрыть дадут чем-нибудь. Люди ведь...

— Слушай, — как-то сказала Вера. — Ты не можешь передать своим девкам, чтобы они сюда не звонили?

— Какие девки? Что ты ерунду порешь? — спросил Карцев и бросил плащ на диван.

— Повесь плащ на вешалку. Я только что всю квартиру вылизала, — устало проговорила Вера и стала разминать папиросу. — Ты не можешь устраивать свои делишки где-нибудь на стороне? Умоляю тебя, избавь меня от разговоров с ними. У тебя есть уйма приятелей, с которыми ты шляешься черт знает где. Они с наслаждением будут передавать за моей спиной все, о чем бы ты их ни попросил. Не давай ты домашний телефон, я тебя просто умоляю об этом...

Ну что за сволочи! Сколько раз он просил: «Не звоните ко мне! Не звоните!» Ну почему в людях нет элементарного чувства такта? Ну что за свинство?.. И Веру жалко...

— Верка, ты меня удивляешь! — сказал Карцев. — Это, наверное, какой-то дурацкий розыгрыш, к которому я не имею ни малейшего отношения... Уверяю тебя...

— Ты вообще ни к чему не имеешь ни малейшего отношения, — перебила его Вера. — Ни к дому, ни ко мне, ни к ребенку... Ты сам по себе, мы сами по себе.

— Ну чего ты врешь про ребенка-то? — крикнул Карцев. — Мало я вожусь с Мишкой? Мало? Да?..

— Ну разве только Мишка, — сказала Вера. — И то я подозреваю, что Мишка — твоё тщеславие, твоё неоспоримое достоинство, вот ты и представляешь Мишкой...

Это было неожиданно верно и точно, и Карцев, подавив в себе желание закричать от обиды и злости, мягко произнес:

— Вера! Ну что ты говоришь?.. Ну как тебе не стыдно?..

И в эту секунду раздался телефонный звонок. Карцев сделал движение к телефону, но Вера положила руку на трубку. Она обстоятельно поискала пепельницу, стряхнула пепел и сняла трубку только тогда, когда телефон позвонил в третий раз.

— Алло, — сказала Вера и посмотрела на Карцева. — Нет, его нет дома...

Карцев пожал плечами, отчаянно стремясь сохранить невозмутимый вид.

Вера положила трубку, встала и тяжело ударила Карцева по лицу.

— Подожди! — сказал Карцев Человечкову. — Подожди, Вася.

— Нельзя, проезжая часть узкая... — буркнул Человечков. — Я вот сразу за мостом прижмусь...

Они переехали тот мост. Машина остановилась, утонув правыми колесами в мягкой пыли обочины. Карцев вылез в эту теплую, ласковую пыль и пошел назад, на мост.

Под мостом хрипло гудела и закручивалась вода. А рядом, параллельно этому мосту, был еще мост железнодорожный.

Солнце уже садилось, и контур железнодорожного моста четко впечатывался в блестящую гладкую воду Нижнего озера и желтовато-розовое небо. Крутая ферма моста поднималась от земли, почти из того места, откуда рос тоненький силуэт сторожевого гриба. Под грибом оловянным солдатиком неподвижно стоял часовой.

Карцев оглянулся. Теперь перед ним открывалось Верхнее озеро и десяток деревянных быков. Редко, как линейные на параде, стояли быки..

— Поехали? — спросил рядом Человечков. — Еще километров шестьдесят топать...

— Поздновато вы приехали, — сказал следователь и посмотрел на часы — Морг-то закрыт...

— И что, теперь ничего нельзя сделать? — спросил Карцев. Он спросил это так деловито и так спокойно, что следователь тут же ответил:

— Нет, почему же... Можно, конечно. — И уныло добавил: — Ищи теперь эту Ядвигу...

— Кого? — не понял Карцев.

— Женщина тут у нас одна... Моргом заведует. После двух с собаками не сыщешь! Бывает, срочное вскрытие — ее нету. Покойника родственникам выдать — ищи свищи... Который год мучаемся. Одно время хотели уволить — не смогли. Не идет никто на эту ставку. Ставка-то мизерная... Вы на машине?

— Да.

— Вы скажите шоферу, пусть к больнице прямо едет. И со двора пусть загонит. А мы с вами за Ядвигой ходим.

По дороге Карцев расспрашивал следователя о его приозерском житье-бытье и узнал, что следователю двадцать семь, и женился он уже здесь, в Приозерске, дочке одиннадцать месяцев, и прокурор все обещает квартиру, да, видно, обещанного действительно три года ждут...

Шли они мимо какого-то длинного забора, потом шагали между ржавыми сухими рельсами, не по черным, а по очень серым растрескавшимся шпалам. И наконец пришли к двухэтажному деревянному дому, около которого мальчишка лет четырнадцати чинил велосипед и сидели три старухи. Старухи посмеивались над мальчишкой и называли его «Мастер Пепка». Мальчишка огрызался и не стеснял себя в выборе выражений. Это еще больше веселило старух, и они, наверное, огорчились, когда к дому подошли Карцев и следователь.

На вопрос следователя, дома ли Ядвига Болеславовна, мальчишка растянул рот в откровенной ухмылке, а одна из старух скорбно поджала губы и ответила:

— Это вам лучше знать. Мы за ей не бегаем.

Следователь вздохнул, поглядел с ненавистью на старух и молча двинулся мимо них к открытым дверям дома. Карцев пошел за ним.

— И ходют к ей и ходют, — слышался демонстративный голос старухи. — И чего, спрашивается, ходют?..

И слышно было, как мальчишка цинично захохотал.

В темном коридоре на втором этаже следователь нащупал какую-то дверь и сказал:

— Здесь, что ли?..

Он постучал, и дверь легко отворилась. Она открылась просто от стука. На высокой постели под ослепительно сверкающим зеленым шелковым одеялом спал краснолицый парень. На спинке кровати висела гимнастерка с погонами старшего лейтенанта. На тоненькой веревочке, протянутой от окна к задвижке печного дымохода, пара стиранных мужских носков и портянок с рыжими подпалинами.

— Ошиблись, наверное, — шепотом сказал Карцев.

— Да здесь! Что я не знаю, что ли?.. — зло ответил следователь и огляделся. — Придет сейчас... Далеко бы ушла, дверь открытой бы не оставила. У них туалет во дворе..

По коридору простучали каблуки, и в дверях поивилась грубо покрашенная женщина лет

сорока пяти. Пьяненько улыбнувшись, она всплеснула руками и ласково сказала:

— Сергей Иваныч! Здравствуйте!.. И вы тоже... Очень приятно.

Нисколько не смущаясь, она поправила на краснолицем парне одеяло, на ходу собрала одну портянку в кулак и сжала — проверила, сухая ли... Все это она сделала одним движением, мягким и удивительно изящным. Движением, которое свойственно очень одиноким и знающим себе цену женщинам. Она даже за стол села, так легко и естественно загородив собой спящего, что Карцев понял, почему к ней все «ходят и ходят» молодые лейтенанты.

— Пойдемте, Ядвига Болеславовна, — сказал следователь. — Вот товарищ из Ленинграда приехал...

— За обоими? Мужчину тоже брать будут?

— Посмотрим, — сказал следователь и встал из-за стола.

— Ну, тогда вы меня извините, — сказала Ядвига. — Я переоденусь...

Следователь и Карцев вышли в коридор.

— Вы вообще-то ей не говорите, что вы родственник... — зашептал в темноте следователь. — Пусть думает, что вы из управления... А то обдерет как липку.

А может, он напрасно ушел в цирк? Бросил тогда все к чертовой матери и ушел. «В профессионалы ушел...» — говорили о нем спортсмены

с презрением и завистью. Конечно, говорили, там платят!

А здесь им не платили? По сотне лишних часов приписывали, только бы выступал мастер спорта, только бы в другое общество не переметнулся!..

Ведь не будешь каждому встречному объяснять, что не получилась жизнь у тебя в собственном доме от собственных бед и неумений. А цирк... Цирк, он круглый год мотает тебя по разным городам и, слава богу, не оставляет времени на самокопание... Просто нету времени. Норма — тридцать в месяц. Тридцать выступлений вечером. Тридцать репетиций утром. Четыре выходных, но зато по воскресеньям работаешь три раза. Месяц — один город, месяц — другой, месяц — третий... И различаются города только по гостиницам и квартирным хозяйкам. Ну еще по «ходячкам», может быть... Девчонки такие при каждом цирке. Годами в цирк ходят. Все про цирк знают. В Москве, в главке, молодые акробаты, полетчики, жонглеры так и говорят: «Ты откуда?» — «Из Красноярска». — «Ну как там Валька?» — «Ничего... В этот раз с Димкой Райтонсом гуляла. А ты куда?» — «Во Львов». — «Ох, там, говорят, ходячка новая одна, Луизой зовут...»

А через год встречаешь пополневшую, умиротворенную Вальку или Луизу не в Красноярске и не во Львове, в на манеже Владивостокского цирка, и стоит такая Валька-Луиза в расшитом блестками платье, подрагивает голыми плечами и, трусливо улыбаясь публике, подает своему мужу

Димке Райтонсу кольца, булавы и мячи разноцветные... Ассистирует. Замуж вышла. А манеж во всех цирках одинаковый — тринадцать метров...

По больничному двору вокруг грузовика Васи Человечкова гуляли больные в серых халатах с бледно-коричневыми шалевыми воротниками. Короткие кальсоны мужчин и длинные белые рубахи женщин выползали из-под халатов и светились в наступающем сумраке.

— И когда нам уже наконец настоящий морг сделают? — спросила Ядвига, отпирая низкую, окованную кровельным железом, широкую дверь. — А, Сергей Иванович?.. С рефрижератором, с прозекторской... Чтобы все как у людей было... Хоть бы ваша прокуратура надавила, что ли... А, Сергей Иванович?

Белые столбики кальсон и полоски рубах стали заинтересованно стягиваться к двери морга.

— Больные! Отойдите сей минут!.. — крикнула Ядвига. — Это еще что такое? Нашли себе кино!..

Она подняла голову вверх и, уставившись в окна второго этажа, закричала:

— Ну-ка, нянечки! Кто там есть? Позовите-ка дежурного врача!..

Больные покорно разбрелись по углам двора.

— Вот вы сейчас посмотрите, в каких условиях мы работаем, — сказала Ядвига Карцеву. — Прямо стыдно сказать.

Вася Человечков вылез из кабины и подошел к Карцеву.

— Подождите здесь, — сказала Ядвига и шагнула в темноту за дверь. Она включила свет, и Карцев увидел в проеме двери на цементном полу что-то прикрытое несколькими кусками бледной клеенки.

Карцев подавил в себе дрожь и повернулся к Человечкову:

— Ты не ходи туда, понял?..

Человечков испуганно мотнул головой, не отводя глаз от прикрытого клеенками.

В резиновых перчатках, в халате и черном блестящем фартуке, с туго повязанной головой, Ядвига вышла из морга и протянула следователю и Карцеву халаты.

— Скидавайте свои пиджачки и рубашечки. Одевайте халатики.

— Какие халатики? — хрипло спросил Карцев.

— А как же! — рассмеялась Ядвига. — Одежа так пропахнет, что потом неделю не выветрится!.. Вон Сергей Иванович знает...

Следователь промолчал и стянул с себя пиджак. Карцев тоже снял пиджак и стал расстегивать рубашку. Когда он стащил рубашку через голову, то увидел, что перед ним стоит Ядвига, протягивает ему халат и ласково разглядывает его сильное, налитое мышцами тело профессионального акробата.

Карцев надел халат. Халат завязывался сзади короткими тесемками.

— Помочь? — спросила Ядвига.

Карцев повернулся спиной к Человечкову:

— Ну-ка завяжи...

Карцев слышал за своей спиной прерывистое дыхание Человечкова и постепенно обретал отвратительное спокойствие.

Это было так не похоже ни на что живое и ни на что мертвое, что Карцев не ощутил ни скорби, ни горя.

— Что же вы хотите, — сказал следователь, — одиннадцать суток в воде...

А Карцев хотел только одного: разорвать весь этот кошмарный сон в клочья и проснуться в какой-нибудь зачуханной тюменской гостинице и, судорожно вдыхая свежий утренний воздух, тупо смотреть на часы и понимать, что он снова опаздывает на репетицию...

— Пойдемте к вашей машине, — сказал следователь. — Я там составлю акт опознания...

Васю Человечкова рвало у заднего ската грузовика. Он стоял, прислонившись щекой к пыльным доскам кузова, и плечи его судорожно вздрагивали.

— Тебе же сказали, не ходи туда, — сжав зубы, сказал Карцев.

Вася хотел что-то ответить, но новый приступ рвоты заставил его еще сильнее прижаться к борту машины, и Васины слезы отпечатались на пыльных досках темными островками.

— У вас гроб с собой? — спросил следователь.

— Нет.

Следователь помолчал, снял очки, протер их, снова надел и решительно сказал:

— Тело в таком состоянии, что без гроба его транспортировать нельзя ни под каким видом, — и добавил, почувствовав всю неуместность своей категоричности: — Вы же сами видели...

Гроб делал Карцев. У старика плотника, к которому Карцева привела Ядвига, нарывал большой палец, и старик здоровой рукой покачивал больную, словно новорожденного. Он дал Карцеву топор, ножовку, молоток, гвозди, складной метр и помог вытащить из сарая четыре длинные желтые доски.

— Мужчина? Женщина? — спросил старик.

— Женщина, — ответил Карцев.

— Распусти долевые по метр семьдесят, а поперечные по шестьдесят... Я их знаешь сколько на своем веку переделал?..

И Карцев отрезал долевые по метр семьдесят и поперечные по шестьдесят, и мысли его путались, перескакивая с одного на другое, и на душе было паршиво и тягостно. А еще Карцев боялся, что сидящий рядом старик плотник окажется таким народным балагуром-умельцем и будет беспрестанно сыпать философскими сентенциями вроде: «Бог дал — бог взял...» и «Не бойсь, паря, все там будем...» — и советовать, советовать, советовать, как гроб делать, потому что он этих гробов на своем веку видимо-невидимо переделал. Он же об этом еще в самом начале сказал.

Но старик молчал, покачивая больную руку, и только один раз попросил Карцева, чтобы тот дал ему прикурить. И это было очень хорошо, потому что Карцев уже до краев был переполнен горечью и смятением и любое неосторожное движение могло расплескать эту горечь на удивление посторонним людям, ничего про Карцева не знающим...

— Все... — сказал Карцев и воткнул топор в остаток доски.

— И ладно, — кивнул головой старик.

Карцев вынул из кармана двадцать рублей и протянул их старику плотнику.

— Это за что? — спросил спокойно плотник, и Карцев увидел, что глаза у старика удивительно синие.

— За доски, — ответил Карцев.

— Им в базарный день пятерка красная цена, — презрительно сказал старик и пнул ногой обрезок доски.

— Ну так, вообще... За все.

— Вообще мне не надо, — сказал старик и встал. Но если ты желаешь, я в церкви свечку поставлю и помянуть попрошу. Как звали?

— Вера.

— Желаешь?

— Желаю...

— Давай, — сказал старик и протянул за деньгами здоровую руку.

Было уже совсем темно. Карцев поднял задний борт.

— Может, переночуете? — спросил следователь. — А то ваш шофер совсем расклеился. Как он в таком состоянии полтора ста километров, да еще ночью, осилит? Оставайтесь, мы вас обоих устроим...

— Осилит, — ответил Карцев и сел за руль.

Человечков безропотно занял место справа и бессильно откинулся на подушку сиденья.

— До свидания, — сказал Карцев следователю.

— Если будут нужны какие-нибудь уточнения, звоните, — сказал следователь. — Акты экспертизы и вскрытия мы еще вчера выслали.

— Хорошо, — сказал Карцев, не понимая, для чего ему все это нужно знать.

— На больших оборотах задний мост шуметь начинает, — сказал Человечков. — Но вы на это внимания не обращайтесь. Он давно шумит, и ничего ему не делается...

— Разберусь, — сказал Карцев и выехал со двора.

Черные улицы Приозерска были слабо тронуты желтым пунктиром фонарей. Карцев прислушивался к двигателю и искал левой ногой кнопку включения фар. И когда он наконец нашел и нажал ее, улицу пронзил жесткий белый веер света. Желтые фонари сразу взметнулись в темное небо и перестали принадлежать улицам. Встречных машин не было, и Карцев вел свой одинокий грузовик посередине проезжей части,

никого не предупреждая миганием фар на поворотах и перекрестках...

Васю Человечкова бил озноб. От него пахло нашатырным спиртом и валерьяновыми каплями.

— Я такого никогда не видел... — сказал он и зажал руки между коленями. — У нас в прошлом году умерла бабушка. Мы ее в Тихвин хоронить ездили. И я ничего... Только жалел очень. А тут...

Вася зажмурился, вынул из колен руки и сжал лицо ладонями.

— Ладно тебе, — сказал Карцев, теряя последние силы.

— На такое человеку смотреть невозможно!.. — выкрикнул Вася и забился в угол кабины.

— Ладно тебе... — устало повторил Карцев и затормозил у витрины «Гастронома». — Посиди. Я еды какой-нибудь куплю на дорогу. Ты что любишь?

Человечков посмотрел на него, отвернулся и ничего не ответил. Карцев вздохнул и вылез из кабины. В магазине Карцев купил пол-литровую бутылку водки, колбасы, хлеба и банку маринованных огурцов. Постоял, подумал и купил бутылку лимонада. Для Васи.

Карцев был последним покупателем, и не успел он дойти до машины, как свет в витринах погас, из магазина вышла женщина и стала вешать на двери большой амбарный замок.

— Это вам просто повезло, — сказал Вася. Он был обрадован возвращением Карцева и засуетился, освобождая место для свертков.

Карцев встал на подножку и заглянул в кузов. Доски гроба неясно белели в темноте, и Карцев почувствовал, как к запаху свежего сена примешивается сладковатый жирный запах гниения. В какую-то секунду ему даже показалось, что он видит этот запах...

— Ну как там?.. — спросил Человечков, и Карцев сел за руль.

— Вера, ты меня любишь? — однажды ночью спросил Карцев.

Вера промолчала.

— Ты меня любишь? — раздражаясь, повторил Карцев.

Вера закурила сигарету и отодвинулась к стене. Некоторое время она молчала, и Карцев не отрываясь смотрел на огненную точку Вериной сигареты, медленно плавающей в темноте. В этом раскаленном комочке непрерывно происходили какие-то изменения: комочек то вспыхивал до желтого, то потухал до малинового, а в центре его и по краям один за другим следовали маленькие злые взрывчики.

— Не любишь ты меня... — сказал Карцев.

Вера затянулась, и комочек засветился белым светом, на секунду озарив лицо Веры. Голова ее была откинута на подушку, глаза закрыты, и к вискам тянулись две блестящие дорожки слез. А через секунду все это исчезло, и осталась только малиновый огонек со взрывчиками и спокойный голос Веры:

— Люблю, наверное...

И когда машина выехала из последней улицы в чистое лунное шоссе, Карцев затормозил и выключил зажигание.

— Вы чего?.. — спросил Человечков.

Карцев отодвинулся к дверце и разложил на сиденье хлеб, колбасу, водку, лимонад и банку огурцов.

— Пассатижи есть? — спросил Карцев.

— Есть, — сказал Человечков, порылся у себя под ногами и подал Карцеву пассатижи.

Карцев открыл банку с огурцами и слил рассол на асфальт.

— Ешь, — сказал он Человечкову.

— Что вы!.. — сказал Человечков. — У меня сейчас желудок ничего не примет. Я сейчас...

— Ну лимонад пей... — прервал его Карцев и открыл бутылку с водкой. — И стакана у тебя, конечно, нет?

— Нет, — огорченно сказал Человечков. — Вы на меня не обижайтесь.

— Нет так нет. На нет и суда нет, — Карцев вытащил из банки огурец и добавил: — Боже мой, как все ни черта не стоит!

Прямо из горлышка он выпил половину водки, съел огурец и протянул бутылку Человечкову. Вася подумал, что Карцев предлагает ему выпить, и отрицательно замотал головой.

— Заткни чем-нибудь, — сказал Карцев. — И поешь, пожалуйста... Посмотри на себя, как ты слаб...

Человечков заткнул водку и деликатно отпил глоток лимонада.

— Хотите, я за руль сяду? — спросил он.

— Сиди, где сидишь, — сказал Карцев и завел двигатель.

И сколько было до Лосева, до того моста, Карцев гнал машину и думал, что все теперь для него сдвинулось с привычных мест, и сознание вины своей в Вериной смерти не покидало его и заставляло вспоминать только то, в чем он был действительно повинен.

А когда машина въехала на тот мост и остановилась у деревянных перил, Карцев допил оставшуюся в бутылке водку, постоял, привалившись к перилам грудью, и от желания броситься вниз, в черный ревуший поток, его останавливал не страх и не рассудок, а всего лишь ощущение сырости деревянного ограждения и прилипшей к телу рубашки. (Маленькое физическое неудобство, которое унижительно тянуло Карцева ксиюминутности и требовательно возвращало его к жизни.)

Потом Карцев дважды останавливал машину, и оба раза залезал в кузов и придвигал ссунувшийся назад гроб к переднему борту. В третий раз он разбудил Васю Человечкова и попросил у него топор. Вася помычал, пошлепал губами и махнул рукой за спинку сиденья. Карцев отодвинул его, достал из-за спинки топор и, укладывая сонного Васю на место, почувствовал на своем лице его

горячее неровное дыхание. Вася температурил. Карцев снял с себя пиджак, укутал Человечкова и вылез из кабины в мелкий сетчатый ночной дождь.

У обочины Карцев срубил два молоденьких деревца, измерил топориком расстояние от гроба до заднего борта, обрубил стволы до нужного размера и обухом загнал их в кузов, одним концом уперев в задний борт, другим — в гроб с телом Веры.

Оставшиеся километров тридцать гроб был плотно прижат и не сдвигался с места ни при сильных торможениях, ни при крутых спусках, и Карцев жалел, что не укрепил его с самого начала.

— Ну хочешь, я положу тебя в свою клинику? — спросила Вера и поправила подушку под головой Карцева.

Слышно было, как Мишка гудит в коридоре.

— Положи, — сказал Карцев и улыбнулся.

Приоткрылась дверь, и в комнату заглянул Мишка.

— Мама, — сказал Мишка, — можно, я и здесь буду жить тоже? Немножко здесь, немножко там... А, мама?..

Это произошло через пять месяцев после того, как они разъехались. Карцев получил отпуск и приехал в Ленинград, в свою новую комнату на Крюковом канале.

Все дни он мотался с Мишкой по музеям и загородным электричкам, вырезал ему лобзиком пистолеты и конструировал тормоз к самокату. Вечером он ходил в цирк, болтался за кулисами, а после представления ужинал с кем-нибудь из цирковых в «Европейской» или в «Астории».

В цирке работала почти вся программа, с которой Карцев недавно был в Польше. Всех он знал, и все знали его, и это было очень удобно. Старые приятели по спорту ему были неинтересны, а новые знакомства Карцев не любил, потому что не любил рассказывать, как Кио делает свои фокусы, и отвечать на вопросы, часто ли тигры разрывают своих укротителей и страшно ли ему, Карцеву, каждый день подниматься под купол, и как артистам цирка платят: зарплату или процент со сбора?..

Новые знакомые всегда считали, что с ним нужно говорить только о цирке. Так же, как с врачом о медицине и с шофером такси об автомобилях.

И когда кто-нибудь начинал захлебываться: «Вы знаете, я обожаю цирк! Запах конюшен, разгоряченных тел! Залитый светом манеж! И нечеловеческий, всепокоряющий повседневный подвиг людей цирка!..» — Карцеву становилось скучно, он начинал разглядывать официанток и думать: «А пошел ты к такой-то матери...»

В последний вечер перед болезнью он случайно познакомился с пугающе красивой манекенщицей из Дома моделей и пригласил ее к себе.

Манекенщица приехала, о цирке, слава богу, не расспрашивала и говорила только о себе и о каких-то сумасшедших шведских дипломатах, итальянских кинематографистах и американских физиках, которые по очереди хотят увезти ее в Швецию, в Италию, в Америку и еще черт знает куда!..

Карцев молчал, слушал, и ему хотелось на Васильевский. К Вере. К спящему Мишке. Он так еще и не приделал к самокату тормоз...

Манекенщица врала вдохновенно и долго, а потом деловито разделась и юркнула под одеяло.

В половине четвертого утра Карцев проснулся от страшной боли. Ощущение было такое, будто кто-то с размаху всадил ему нож в сердце. Левая рука отнялась и похолодела. Карцев задыхался от боли и страха, а манекенщица звонила в «Скорую помощь» и, прикрывая ладонью трубку, спрашивала у Карцева его фамилию и возраст...

А потом «Скорая» опутала Карцева проводами и тут же в маленькой тесной комнатке на Крюковом канале получила электрокардиограмму карцевого сердца. Манекенщица путалась в старом махровом халате Карцева и все время пыталась что-то скавать.

Карцеву ввели промедол и кордиамин и дали маленькую таблетку нитроглицерина. Боль стала затихать, дыхание выровнялось, и Карцев издали слышал, как врачи успокаивали манекенщицу, говоря, что это не инфаркт и даже не

стенокардия, а просто сильный спазм сосудов. Скорее всего, на нервной почве...

Врачи уехали, и Карцев задремал. Проснулся он часа через два. Манекенщицы не было. На стуле у тахты лежала записка: «Не болей!!! Целую. Л.». И какой-то телефон. Карцев скомкал записку и сунул ее в пепельницу. Он поспал еще два часа, а потом дотащился до телефона и позвонил Вере. Вера приехала и привезла с собой Мишку.

Она выставила Мишку в коридор, убрала и проветрила комнату и перестелила Карцеву постель. Остатки коньяка Вера заткнула и поставила на окно.

— Ты хоть не пей, — сказала Вера.

— Коньяк расширяет сосуды, — подмигнул ей Карцев.

Вера вызвала машину и отвезла Карцева на Петроградскую сторону, в свою клинику. Карцева положили на обследование, и на следующий день все в клинике знали, что наверху, на третьем этаже, во второй терапии, лежит бывший муж Карцевой с функциональным расстройством нервной системы и склонностью к ангиоспазмам.

Карцев шатался по холодным кафельным коридорам и курил в битком набитой уборной, где стоял мат и пили водку, где шли нескончаемые разговоры о чужих женщинах и своих болезнях. А потом уходил в палату, ложился в кровать, подкладывал под щеку маленький наушник и сквозь концерты-загадки и политические собы-

тия отыскивал прогноз погоды на завтра, до которого ему не было никакого дела...

Вера бывала у него ежедневно, приносила кефир, ветчину и Мишкины рисунки. Ветчину Карцев съедал, отдавал кому-нибудь кефир и писал Мишке веселые письма в стихах.

И каждый раз, передавая письмо Вере, он ждал, что Вера скажет ему что-нибудь такое, отчего все вдруг начнет меняться и перестраиваться и он сможет согласиться или не согласиться. И это одинаково будет хорошо, так как это утвердит его в самом себе и он перестанет чувствовать себя в чем-то виноватым.

Но Вера ничего такого не говорила, и к концу второй недели Карцеву мучительно захотелось уехать в какой-нибудь цирк и не продлять отпуск, на что он имел полное право, а сократить его и как можно скорее начать работать и жить по привычному распорядку любого цирка — по распорядку, который начисто исключит все то, что сейчас тревожит Карцева...

Он тогда так и сделал. Позвонил в Москву, в отдел формирования программы Союзгосцирка, и попросил разнарядку. А через три дня сел в поезд и уехал не то в Свердловск, не то в Новосибирск... Сейчас и не вспомнишь.

Вася Человечков открыл глаза и спросил:

— Приехали?

— Да, — ответил Карцев.

— А времени сколько?

— Три.

Карцев закурил, открыл дверцу, и в кабине сразу стало холодно.

— Ты посиди, — сказал он Человечкову. — Я сейчас...

— Нет... Я с вами.

Вася тяжело вылез из кабины и тут же сел на ступеньки приемного покоя.

— Тогда вставай, — сказал Карцев.

— Я посижу... — хрипло сказал Вася и закашлялся.

— Вставай, вставай!.. Идем.

Карцев поднял Васю со ступенек и открыл дверь приемного покоя.

— Ну как, задний мост здорово шумел? — спросил Вася.

— Не очень.

— Он еще черт-те когда начал шуметь... Я сначала думал, вот-вот рассыплется, а потом привык. Сателлиты, что ли, подработались?

— Давай, давай, двигай... — сказал ему Карцев.

Васю оставили до утра в больнице, а Карцев, пообещав ему отогнать машину в цирковой гараж, еще немножко покурил у дежурного врача. Затем пришли три медбрата — студенты-практиканты из Первого медицинского института. Один из них, в джинсах и кедах, сел с Карцевым в кабину указывать дорогу, а двое других пошли за машиной пешком. К больничному моргу.

Карцев медленно вел машину между институтскими корпусами.

— Откуда везешь, шеф? — спросил медбрат в джинсах.

— Показывай дорогу, — ответил Карцев. — Теперь куда?

— Налево... Ну и работка. Шел бы лучше в такси...

— Заткнись, — сказал Карцев.

— Чего?!

— Заткнись, говорю. Показывай, куда ехать...

Вчетвером они спустили гроб в громадный подвал морга, и, когда Карцев поднялся наверх в прозекторскую, к нему подошла заспанная женщина в очках и шерстяном платке, накинутом прямо на халат, и сказала:

— Тут вам записка. На столе, под стеклом.

На куске форменного бланка для заключения патологоанатома было написано: «Профессор Зандберг просил позвонить ему в любое время. Зандберг Давид Львович. Тел.: В 8-24-69».

Карцев сел к столу и набрал номер Зандберга.

— Алло... — немедленно ответил Зандберг.

«Телефон у кровати», — машинально подумал Карцев и сказал:

— Давид Львович? Это Карцев.

— Ну?.. — сорвавшимся голосом спросил Зандберг, и было слышно, как он часто дышит.

— Это Вера.

Зандберг молчал.

— Вот так... — сказал Карцев и навалился грудью на стол.

— Боже мой... Боже мой... Какой ужас!.. — тихо проговорил Зандберг.

— Вот так, — повторил Карцев.

— Приезжайте ко мне, — сказал Зандберг. — Я совершенно один. Мои на даче...

— Нет, — сказал Карцев и подумал о том, что у него может не хватить бензина доехать до цирка. — Спокойной ночи, Давид Львович...

— О чем вы говорите!.. — тоненько воскликнул Зандберг. — О чем вы говорите...

— До свидания, — сказал Карцев и повесил трубку.

А Зандберг сидел у окна и невидяще всматривался в белесые предутренние стекла, и телефон с длинным, уходящим неведь куда шнуром стоял на подоконнике, а не у кровати, как думал Карцев. И душу Зандберга раздирала щемящая жалость к незнакомому Карцеву, которого он никогда не видел, к маленькому Мишке, которого он видел всего два раза, и к самому себе — уже очень пожилому человеку, у которого больше никогда не будет маленьких детей...

И хотя стрелка была на нуле, бензина хватило до самого цирка. Карцев разбудил вахтера и загнал машину во двор. Он вынул ключи из замка зажигания, отдал их вахтеру и ушел.

Он шел по Фонтанке, скользя рукой по мокрому холодному металлу ограды, и через

каждые десять метров машинально задерживал ладонь на теплой сухой гранитной опоре. А еще он, как в детстве, старался не попасть ногой на стыки каменных плит тротуара, и это было очень трудно, — плиты были разных размеров, и длина шага должна была постоянно изменяться. Только в детстве ему приходилось для этого шагать шире, чем он мог, а сейчас — наоборот...

Но, наверное, холодные мокрые перила, сухой теплый гранит и неровные плиты под ногами были где-то за пределами сознания, и Карцев шел по Фонтанке, может быть впервые в жизни признаваясь себе во всем, в чем никогда не признавался, думая обо всем, о чем раньше так старался не думать. И Вера, живая Вера стояла у него перед глазами. И жесткость ее характера была противодействием слабости Карцева, ее непримиримость — нежеланием прощать Карцеву судорожные попытки сохранить для себя — только для себя! — свою маленькую липовую свободу. Эти попытки рождали крошечные предательства, каждое из которых Вера видела за версту, каждое из которых Карцев так блистательно умел оправдывать неизбежностью, тысячетным мужским правом и еще черт знает чем!.. «Ах, жизнь не получилась... Ах...» — еще что-нибудь не менее банальное и пошлое... А за всем этим стояла элементарная трусость, паническая боязнь того, что в один прекрасный момент Вера вдруг все увидит и все поймет. И освободить Карцева от этого страха, прекратить вранье и стереть посто-

янное ощущение уязвленности мог только развод. Но развод элегантный, широкий, красивый. Не сумма мелких долголетних нервных вспышек, вылившихся в отвратительный скандальный разрыв, а развод-прощение, утверждающий его в самом себе и начисто стирающий все сомнения в правильности собственных поступков, когда-либо возникавших в смятенной душе Карцева. Впрочем, широта и уступчивость тоже имели свое двойное дно: скорее, скорее почувствовать себя свободным от необходимости наконец-то стать взрослым... И нет ему сейчас никакого прощения.

Остаток ночи Карцев лежал на тахте, курил и старался представить себе все, что должно произойти дальше. Но как только он начинал выстраивать возможную цепь будущих событий, мгновенно возвращались подробности прошедшего дня и ночи, цепь рвалась, и Карцев снова начинал слышать голос Ядвиги, чувствовать на своем лице горячее дыхание Васи Человечкова и видеть руки следователя, раздвигающие пинцетом губы Веры для того, чтобы Карцев хотя бы по коронкам смог определить, она это или не она... И запах! Запах в морге, запах халата.

Карцев вскочил, схватил со стула пиджак, скомкал его и стал обнюхивать со всех сторон. От пиджака несло бензином. Карцев бросил пиджак и сорвал с себя рубашку... Права была эта старая крашенная стерва, теперь за неделю не выветрит-

ся!.. А может быть, нет запаха? Может быть, никакого запаха и нет?.. Может быть, ему это только кажется?..

Спустя два дня Веру хоронили.

На кладбище ехали двумя черными похоронными автобусами.

В первом — гроб с телом Веры, Карцев, венки и незнакомый Карцеву парень — муж какой-то Вериной приятельницы. Во втором — прилетевшая из Ялты Люба, теща, заплаканная Большая Берта и еще человек пятнадцать, которых Карцев совсем не знал.

Гроб Веры, не тот, который делал Карцев, а новый, купленный, раскрашенный «под дерево», с накладными давлеными жестяными веточками на обойных гвоздях, с ручками из толстой проволоки, был накрыт цветами от запаха и наглухо заколочен от взоров знакомых и родственников, которым, как сказал капитан Банщиков, «совершенно невозможно дать смотреть на такое преобразование». «Очень даже просто, — сказал Банщиков. — Могут возникнуть нездоровые мнения, что это и не она вовсе...» И гроб заколотили.

Люба вела себя мужественно и тихо, говорила негромко и с первой же минуты своего пребывания в Ленинграде стала повсюду ездить с Карцевым и помогать ему. А ездить приходилось

много: на одно кладбище, на другое, на третье. Мест не было:

Приняли на Ново-Волковское. Высокий костистый парень в резиновых сапогах — заведующий — принял деньги, сам выписал квитанции, зарегистрировал документы в большой разливной книге и сказал:

— Значит, ваш участок седьмой, от центральной аллейки влево до забора. Четвертый ряд от края. Там хорошо будет: место сухое, высокое — песок... Ставить что желаете?

Он вывел Любу и Карцева из низенького помещения конторы и показал дворик, где из какой-то быстро стынувшей массы формовали могильные «раковины» с вмазанным небольшим кусочком мрамора. На мраморе высекались фамилия и даты рождения и смерти.

Они снова вернулись в низенькую контору, и парень в резиновых сапогах взял с них по преискуранту за «раковину» и снова выписал квитанции. А потом написал на бумажке имя и фамилию Веры, год ее рождения и год ее смерти, сосчитал все буквы и цифры, умножил на что-то и опять стал выписывать квитанцию.

— Вы их не теряйте, — сказал парень. — Как захоронять будете, предъявите их сюда, в контору, вас и проводят на место. А то меня может не быть, и вас без этих бумажек на территорию не пустят.

На кладбище пропустили только одну машину с гробом. Из второй все вышли и пошли вслед за первой машиной по центральной аллее. Но и первая машина до могилы не доехала, а остановилась около фанерного указателя в виде стрелочки: «Участок № 7». Гроб пришлось нести на руках, и ноги людей сползали с песчаной узкой дорожки и давили бурые комья сухой земли.

Около неглубокой могилы сидели трое с лопатами. Они курили, подставляя лица солнцу, и их загорелые шеи и кисти рук резко граничили с белым телом, выглядывавшим из расстегнутых рубашек. И когда гроб опустили на землю, один из них встал и безошибочно подошел к Карцеву. Подошел деликатно, сзади и тихонечко сказал:

— Хозяин, мы там, значит, досточки для крепления «раковины» принесли... Это, конечно, если хотите. Чтоб потом дождями не подмыло. Так что вот, пожалуйста...

Карцев дал ему пять рублей и, не зная, что делать дальше, стал отряхивать испачканный глиной пиджак.

Подошла плачущая теща. Люба держала ее под руку и не сводила глаз с крышки гроба.

— И место-то какое нехорошее, — еще сильнее заплакала теща. — Сырое да низкое... Ни один цветочек не примется...

— Это вы напрасно, — огорченно сказал человек с лопатой. — Место самое что ни на есть... Очень даже хорошее место.

Все стояли и досадливо оглядывались по сторонам, словно выискивали того, кто знал, как нужно поступать дальше. До того момента, пока гроб не опустили на землю, все было понятно, правильно и скорбно. Потом, когда гроб опустят в могилу, все будет тоже ясно. Женщины перестали плакать в ожидании. Они покачивали горестно склоненными головами и любопытно поглядывали на Карцева, Любу и тещу.

Откуда-то подошла старушка с высокой палкой и профессионально жалостливым выражением лица. Через плечо у нее висела матерчатая сумка от противогаза, а маленькая старушечья головка была по брови затянута в черный непроницаемый платок. В руке два цветочка из стружек — красный и синий. Старушка подошла к Большой Берте и спросила, показывая подбородком на гроб:

— Как звали-то?

— Вера... — машинально ответила Берта.

— Женщина, значит, была... — удивленно-распевно сказала старушка и добавила: — А лет-то сколько?

— Тридцать четыре...

— Не пожила, не пожила... — пропела старушка и быстренько перекрестила себя трижды.

Человек с лопатой шагнул к старушке, наклонился над ней и беззлобным шепотом сказал:

— Ну-ка брысь... Тебя тут не хватало. — Потом повернулся к Берте и спросил деловито: — Говорить будете?

И тогда из кучки пожилых незнакомых женщин, стоящих слева от Берты, отделилась одна и надрывно-уверенно произнесла:

— Дорогие товарищи! Все сотрудники нашей кафедры поручили мне выразить глубоков соболезнование!..

И, несмотря на то что женщина роняла в могилу круглые, привычно катящиеся слова и с детства знакомые, слышанные, читанные фразы, все вновь почувствовали горе и сладостную жалость ко всему на свете. Женщины заплакали, тоненько заголосила теща, припав к плечу своей старшей дочери Любы, мужчины тискали и мяли руками лица.

Карцева трясло, и он даже не пытался унять дрожь, только смотрел поверх голов в черные безлистые ветки старой облезлой березы, и в глазах у него стоял Мишка, удивленный, замурзанный, с просвечивающей бледно-голубой жилкой на левой щеке. Потом гроб опускали в могилу, и Карцев снова запачкал пиджак и брюки. Трое с лопатами быстро и ловко засыпали могилу и установили «раковину» с высеченными золотыми буквами.

Ах какая жестокая штука — поминки! Ах страшная штука!..

Будто держат человека на весу за шиворот и мотают его из стороны в сторону — то дадут ему под винегретик забыть про покойника, то под стакан водочки вспомнить заставят. И все вразно-

бой, вразнойбой... Один рассказывает, что ему сказала покойница в прошлом году «вот почти в это самое время», другой тихим приличным голосом жалуется, что лето на исходе «и на юг уже не выберешься»...

А потом вдруг все замолкнут разом, послушают, как в кухне мать покойницы пьяненько соседкам тоску свою прокричит, покачают головами, и снова пойдет нелепая путаница настроения и слов.

Соседки по квартире, чистые, прибранные, будут гостям селедочку предлагать и уговаривать быстрее масло в картошечку класть, а то «картошечка остынет и маслице в ней нипочем не разойдется»...

И хорошо, что Люба сидит рядом и за руку держит. И хорошо, что Любе сейчас так же плохо, как и ему, Карцеву, от всего этого. Самый близкий сейчас человек — Люба. Сестра. Их здесь только двое близких — он и Люба.

— Ты не слушай, не слушай... — шепчет Люба и по руке гладит. — Ты про Мишеньку думай. Ты про Мишеньку думай... Ты теперь должен всем для него быть...

— Люба... Люба...

Карцев низко наклоняется и целует Любину руку. И нет у него сил поднять голову. Сейчас никто из этих не должен видеть лица Карцева...

А Люба все гладит его, спичку подносит.

— Ты подумай, Шуренька, может, не стоит тебе увозить его?.. Как ты там с ним один будешь?.. Он же маленький... Вот уйдешь из цирка,

начнешь жизнь нормальную, оседлую, тогда и... А пока...

И тут Карцев почувствовал, как далека от него Люба, как она ничего не поняла в нем и как ей теперь совсем нет до него никакого дела.

Он один. Он за этим столом один. Нет у него близких. Нет у него никаких сестер! И братьев нет!.. Никого... Сын у него есть — Мишка. Его сын. И все.

— Не пей больше, Шуренька, — шепчет Люба.

«А провалитесь вы!..» — думает Карцев, и в уши его вползает чей-то голос:

— ...И долг наш, сидящих за этим столом, помочь матери незабвенной Верочки, Ангелине Петровне, воспитать своего внука Мишеньку и поставить его на ноги...

Карцев вскочил бешено, опрокинул стул, рванул на себя скатерть:

— Раскаркались!.. Сволочи!!

На вокзал Карцева и Мишку провожали теща и Большая Берта. Люба еще третьего дня улетела в Ялту, одарив мать деньгами, а Мишку сладостями и очень красивым пластмассовым пароходом. С Карцевым Люба разговаривала сдержанно и тихо, как с тяжелобольным, и просила на будущее лето привезти Мишку к ней. Они будут снимать под Москвой дачу, а так как Карцев из цирка в цирк ездит все равно через Москву, то он сможет видеть Мишку когда ему вздумается.

Карцев поблагодарил и не отказался, но Люба поняла, что Карцев этого не сделает, и махнула рукой.

В такси теща и Берта сидели сзади, и теща тихонько рассказывала Берте, как хоронили Сережу Рагозина. Сама она на похоронах не была, но мать и отец Сережи, которые приехали из Костромы, приходили к ней и даже ночевали у нее две ночи.

— Не хотели у невестки, — сказала теща. — Одну ночь провели, а больше не хотели.

А потом, рассказывая, как хоккеисты посадили у могилы Рагозина березку и какой хороший участок им выделили, рядом с оградой, у самой аллеи, теща дважды принималась плакать, и Карцев понимал, что все это говорится для него и в упрек ему, и поделаться ничего не мог, а только прижимал к себе сонного Мишку и был рад, что Мишка всего этого не слышит.

— Говорили, к зиме сложатся и мраморный памятник ставить будут... — всхлипнула теща. — Конечно, им легко... Их вон сколько...

Карцев прижимал к губам мягкие Мишкины пальцы и тоскливо ждал вокзальную площадь. Почему-то он вспомнил Тима Чернова, с которым ездил в Лугу за Мишкой. Они были давно знакомы, еще с тех пор, когда Тим учился в электротехническом институте. Потом Тим стал очень известным эстрадным писателем, и самые неприступные конферансье разговаривали с ним, искательно заглядывая в голубые веселые Тимоны глаза. Тима это всегда очень смешило.

Мягко раскатывая букву «р», Тим пел свои песни слабым приятным голоском, аккомпанируя себе на гитаре. Он не был «сатириком», как его называли в эстраде. Впрочем, всех пишущих для эстрады называют «сатириками». Тим был лирик, он был влюблен во всех, даже в самых случайных женщин, и обаяние его песен было его внутренним обаянием, и это чувствовали все, кто хоть один раз видел Тима.

Последние годы он много зарабатывал и легко тратил. Каким образом он умудрился купить машину, никому не было ясно. Тим говорил, что сам этого не понимает. На самом деле все было просто: Тим тяжело заболел облитерирующим эндартериитом, его долго лечили и, наконец, ампутировали пальцы левой ноги. Несколько месяцев он пролежал в клинике и не успел истратить деньги. Вот и машина...

Когда Карцев позвонил ему и попросил съездить с ним в Лугу за Мишкой, Тим немедленно согласился и сказал, что приедет за ним в девять часов утра. Тим, наверное, знал все и ни о чем не спрашивал.

Спустя несколько часов, ночью, Тим позвонил Карцеву.

— Слушай, Шурка, — сказал Тим. — А что, если я сейчас за тобой приеду и двинем в Лугу?.. К утру там будем.

— Давай подкатывай, — сказал Карцев.

— Только ты меня у ворот жди, — сказал Тим и повесил трубку.

Через двадцать минут Тим подкатил, и Карцев, усевшись в машину, увидел, что Тим сидит за рулем, поджав левую ногу под себя. Тим рванул с места, и машина понеслась по набережной. Правой ногой Тим привычно управлялся и с тормозом, и со сцеплением, и с акселератором.

— Что с тобой? — спросил Карцев.

Тим улыбнулся, вытащил сигареты и попросил:

— Прикури мне, пожалуйста... Понимаешь, дрянь какая: замучила проклятая!.. — И Тим показал на левую ногу.— Болит и болит! Я подумал, что все равно не спать, и позвонил тебе...

Машина мчалась по светлым пустынным улицам.

— Мне еще в прошлый раз предложили ампутацию до колена, а я не согласился... А потом, когда полстопы отхватили...

— Какие полстопы?! — спросил Карцев.— У тебя же только пальцев нет!..

— Пальцы в первый раз отрезали. А я еще потом лежал там же. Ну да, тебя же давно не было! Ты же ни черта не знаешь... Слушай, Шурка, я для цирка несколько репризочек написал. Я тебе список дам, а ты будешь в Москве, посмотри в репертуарном отделе, что в работе, а что не пошло. Ладно?

— Ладно: Хочешь, я за руль сяду?..

— Нет, Шурик, не надо... Так я хоть чем-то, кроме боли, занят.

Потом, когда уже возвращались из Луги, Тиму стало немного легче, и оставшуюся дорогу

они с Мишкой пели «На далеком севере эскимосы бегали...» и еще какую-то песню с нескончаемым количеством куплетов. Мишка эту песню не знал, и Тим его учил.

Приехали на Васильевский. Мишка попрощался с Тимом и помчался наверх, а Карцев пожал Тиму руку. Не отпуская руку Карцева, Тим прикурил у него и сказал:

— Ты счастливый, Карцев... У тебя сын есть. Знаешь, как я тебе завидую?..

— Женись, Тим, и у тебя сын будет.

— Ты меня не понял, старик, — грустно улыбнулся Тим и отпустил руку Карцева.— Я не хочу жениться. Я хочу сына...

Мишка не знал, что Веры нет в живых. Карцев с самого начала жестко и неумолимо потребовал от тещи и Любы молчания. Была выработана ложь, которой неизвестно сколько придется пичкать Мишку. На любой его вопрос о матери нужно было говорить, что мама далеко, в командировке, и приедет не скоро. Потом когда-нибудь сказать, конечно, придется... Но только потом! И теща и Люба согласились, чему Карцев был удивлен и обрадован...

Поэтому сейчас, сидя в такси, Карцев нервничал и боялся, что Мишка услышит все, о чем говорила теща. Но Мишка, утомленный последними неясно тревожными днями, находившийся в состоянии нервного перевозбуждения оттого, что он снова едет с папой в цирк, уснул еще

дома, в ожидании такси, и теперь сон его становился все глубже и глубже...

На вокзал приехали рано. Уложив Мишку спать в крайнем двухместном купе, Карцев, теща и Берта долго стояли в тамбуре. Теща плакала, просила Карцева беречь Мишеньку и писать ей часто и подробно. Берта курила, стряхивая пепел в большую, пухлую согнутую ладонь.

За пять минут до отхода поезда теща прошла в купе и долго смотрела на Мишку. Подбородок у нее трясся, и дрожащие пальцы все поправляли и поправляли на Мишке толстое мохнатое железнодорожное одеяло. А потом вышла на перрон и сказала Карцеву:

— Хорошо, что вдвоем только поедете... Ты уж не кури там, Шуренька... Потерпи, а то в коридорчик выйди...

И тогда Карцев обнял тещу и стал целовать ее старое, мокрое лицо, а Большая Берта стояла в стороне, так и держа в одной руке пепел, а в другой давно погасшую сигарету. Она стояла в центре перрона, и поток бегущих людей плавно рассекался перед ней и, миновав ее, снова смыкался в одну торопливую струю...

А потом перрон тронулся и медленно потянулся назад, к вокзалу. Карцев стоял за спиной проводницы и, как в детстве, махал рукой. С каждым взмахом он чувствовал, что силы, которыми он сдерживал себя все эти дни, стали покидать его; будто на пол с неслышным лязгом падали одна за другой части кованых лат, защищавшие его от всего на свете...

Перрон кончился, проводница закрыла дверь, и Карцев прошел в свое купе.

Мишка спал на боку. Одеяло с него сползло, и голая Мишкина нога свесилась с узкого вагонного диванчика. Карцев снял пиджак, повесил его у двери, погасил верхний свет и зажег синюю контрольную лампочку. Затем сел у Мишки в ногах и, уже сидя, стал поправлять на Мишке одеяло. Он осторожно уложил Мишкину ногу в постель, и Мишка от прикосновения перевернулся на спину.

Карцев сидел, бессильно забившись в угол, и смотрел на бледное лицо Мишки, и не было сейчас на Карцеве ни одного защищенного места. Горячими сильными толчками подступил кипящий комок слез, и Карцев сжался в последнем усилии сдержать себя. Но дыхание с хрипом рвалось из груди, и стон, переполнявший все существо Карцева, выплеснулся в его руки, очень сильные руки, яростно зажавшие собственный рот жесткими от трапеции пальцами...

Он долго плакал, обхватив руками голову, подняв колени до подбородка, съежившись и закрываясь висящим пиджаком, а поезд постукивал колесами, изредка и на мгновение вбирая в себя желтый свет станционных фонарей. И тогда лицо спящего Мишки на долю секунды несильно вспыхивало, и Карцев видел в его лице лицо Веры, ее излом бровей, ее вздернутую верхнюю губу, и был счастлив, что Мишка так на нее похож...

А когда мимо пронеслась запоздалая электричка и пронзила ночь своим птичьим криком, Мишка открыл глаза и сонно сказал:

— Папа...

Карцев вытер лицо полкой пиджака и промолчал. Ждал, что Мишка снова уснет.

— Папа, — тревожно повторил Мишка и приподнял голову.

— Что, сынок? — ровно спросил Карцев.

— Папа, я пить хочу... — сказал Мишка.

Ты мне

только

пиши...

Волков лежал в коридоре хирургического отделения.

В том месте, где стояла его кровать, было совсем темно, и только в конце коридора, на столе дежурной сестры, горела маленькая, приглушенная абажуром лампочка.

В левой руке толчками пульсировала боль. Боль прерывала дыхание, покрывала губы шуршащей корой и сотрясала тело Волкова мелкой непрерывной дрожью. Волков отсчитывал десять толчков и на несколько секунд терял сознание. В себя его приводил далекий свет на столе дежурной сестры, и Волков снова начинал считать.

На десять толчков его хватало...

В какое-то мгновение, кажется на седьмом толчке, лампа стремительно всплывала вверх, а затем начинала неумолимо двигаться к лицу Волкова, заполняя собой все: пол, потолок, стены и высокие белые двери палат. Весь окружающий мир становился одной только лампой, и Волкову казалось, что теперь он сам несется в это кипящее море света. И столкновение Волкова с этим не-

умолимым блистающим ужасом рождало десятый болевой толчок, после которого Волков терял сознание. И все начиналось сначала.

Каждый раз, когда сознание возвращалось к нему, он хотел крикнуть сестре, чтобы она потушила эту жуткую лампу, но боялся, что пропустит счет толчков, и десятый, самый страшный, придет неожиданно...

И тут Волков услышал, как совсем рядом начала скрипеть дверь. Скрип становился все сильнее и сильнее. Он нарастал медленно и неотвратно и вдруг почему-то перешел в ровный скрежет танковых гусениц. Острой болью скрежет раздирал барабанные перепонки, и Волкову казалось, что сквозь него идут танки.

«Танки!!! Танки!..» — беззвучно закричал Волков, и грохот моторов и визг танковых траков, скользящих по камням, заполнили его мозг.

Дверь остановилась. Танки исчезли. И в наступившей тишине Волков услышал, как кто-то тихо и отчетливо спросил:

— Как этот?... Из цирка?

И кто-то в ответ промолчал.

Отец Волкова был посредственный художник и чудесный человек, а мать — веселая, остроумная и немного взбалмошная женщина.

Война застала четырнадцатилетнего Волкова в Териоках, в детском доме отдыха Литфонда, куда устроила его мать через одного знакомого литератора.

В доме отдыха было скучно. Волков слонялся по берегу залива и получал выговоры за опоздание на ужин. И когда началась война и мать примчалась за ним в Териоки, Волков был обрадован тем, что его увозят из этого нудного, пахнущего хвоей дома...

По дороге в Ленинград Волков видел движущиеся в разных направлениях войска и дым на горизонте.

Через несколько дней мать испекла ему на дорогу шарлотку с яблоками, посадила в вагон, переполненный теми же самыми литфондовскими детьми, и отправила за Ярославль, в Гаврилов-Ям.

Там Волков познакомился с красивым смуглым мальчишкой с длинными, как у обезьяны, руками. Мальчишка играл в баскетбол и лихо «жал» стойки. Звали его Сашка Рейн. Он был племянником одной известной переводчицы и жил у нее в Ленинграде, на Петроградской стороне. В баскетбол Волков не умел играть, и Сашка его учил.

Так прошло месяца полтора.

К августу в Гаврилов-Ям приехали родители почти всех литфондовских детей и стали увозить их в Среднюю Азию.

Волков был поручен приятельнице матери, жене одного кинорежиссера, которая приехала за своей дочерью. За Сашкой не приехал никто. Волков попросил у жены кинорежиссера сто рублей и ночью вместе с Сашкой уехал в Ленинград.

Дома на Семеновской он застал только отца и домработницу Федосеевну. Отец был огорчен тем, что Волков вернулся в Ленинград. Мать лежала в больнице Эрисмана. У нее был рак легкого, и от Волкова это скрывали.

В начале декабря Волковых вызвали в больницу.

В раздевалке отец схватил халат и побежал на третий этаж в палату. Волков остался сидеть внизу, в приемной. Мать нельзя было волновать, и она не знала, что Волков в Ленинграде, а не в Средней Азии.

В приемной было холодно. Длинная деревянная скамейка с высокой вокзальной спинкой была выкрашена белой краской. Волков сидел на этой скамейке и ни о чем не думал. Он замерз, и ему хотелось есть. Он даже не заметил, как спустился с лестницы отец.

— Сиди, — сказал отец и сел рядом.

Отец посмотрел на Волкова воспаленными глазами и тихо проговорил:

— Ты знаешь, она была все время без сознания, бредила, а потом вдруг взглянула на меня и сказала очень внятно: «Димочку побереги... Димочку...»

А к февралю умерла Федосеевна. Она просто уснула в очереди за керосином. В квартиру Волковых постучал дворник Хабибуллин. Волков открыл дверь, и дворник сказал:

— Иди в лавка, где керосин торгуют. Там твой нянька помер. Скажи папашке, доски у меня есть.

— Зачем доски?! — ужаснулся Волков.

— Как зачем? Гроб делать будем.

И Волков остался с отцом в большой холодной квартире.

Отец работал в газете и пил.

Волков тушил «зажигалки» и ходил с мальчишками пилить дрова. Им платили супом, хлебными карточками умерших и крупой.

Потом отца взяли в армию. Он уехал в редакцию какой-то фронтовой газеты, а Волков поступил работать в артель «Прогресс» учеником штамповщика.

Артель находилась в соседнем доме и до войны выпускала значки ГТО и «Ворошиловский стрелок». Значки крепились на цепочках и напоминали ходики. Теперь в «Прогрессе» делали взрыватели для ручных гранат, и Волков гордился своей рабочей хлебной карточкой.

Иногда отец присылал письма и посылки с консервами. Волков писал ему, что работает на оборонном предприятии и чувствует себя отлично. Ему хотелось в армию, и по ночам он придумывал плохие мужественные стихи.

Однажды, в начале сорок четвертого, приехал отец. Он пополнил, отрастил усы, и Волков еле узнал его.

Отец осторожно погладил его по голове и почему-то очень горько сказал:

— Какой ты большой теперь, сынок...

Они разогрели тушенку и устроили царский ужин. Отец пил спирт и рассказывал Волкову, каким замечательным человеком была его мать.

В квартире было холодно, и Волков затопил маленькую железную печурку с трубой, выходящей в форточку. Это была единственная печка на всю квартиру, и стояла она в детской.

Отец долго смотрел в открытую дверцу печки и вдруг сказал совершенно трезвым голосом:

— Ты прости меня, сынок... давай спать.

Тут же, в детской, Волков постелил отцу на кровати, а сам лег на старую продавленную тахту. Он сразу уснул, словно провалился куда-то.

Проснулся он среди ночи от каких-то странных звуков. Он тихо поднял голову и увидел отца, сидящего на кровати.

Свесив ноги, отец в упор смотрел на фотографию матери, всхлипывал и повторял, раскачиваясь из стороны в сторону:

— Господи, господи... Милая моя, дорогая... Что же теперь будет?.. Что же мне делать?..

Потом Волков увидел, как отец чиркнул спичкой и закурил папиросу. Он затаился два раза, зло сломал папиросу рядом с пепельницей и глухо и надрывно заплакал...

Волкову захотелось вскочить, броситься к отцу на шею, успокоить его, заставить уснуть, а потом сидеть рядом, сторожа сон единственного близкого ему человека... Но он лежал, боясь пошевелиться. Ему казалось, что, если он сейчас встанет, отцу будет мучительно стыдно своих слез и разговор не получится.

Он видел, как отец налил себе полстакана спирта, залпом выпил и, застонав, стал ходить по

комнате. В печке еще тлели угли, и громадная тень отца металась по стенам и потолку. Один раз отец остановился около тахты и невидяще посмотрел на Волкова. Волков сжал зубы и зажмурил глаза. Потом отец повернулся и тихонько лег в кровать.

Волков так и не заснул.

Утром отец поцеловал его, забрал фотографию матери и ушел.

В один из выходных дней Волков поехал на Петроградскую сторону, на площадь Льва Толстого, к Сашке Рейну. Дверь отворила пожилая женщина и сказала, что Саша еще с ноября сорок третьего служит во флоте, на Балтике. Она так и сказала — «на Балтике»...

А в мае пришла повестка и Волкову. К этому времени ему исполнилось семнадцать лет, и у него были большие рабочие руки взрослого человека.

Волков написал отцу, запер квартиру, сдал ключи Хабибуллину и ушел в военкомат.

...Полтора месяца Волков был в учебном батальоне, а потом две недели на формировке в двухстах километрах от линии фронта. Затем их дивизию выдвинули на передний край, и в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое августа три батальона семнадцатилетних мальчишек были брошены в атаку на маленькое городишко с нерусским названием.

Было очень страшно, и Волков ничего не понял в этой кромешной тьме и тоже, как все, бежал, стрелял, падал, кричал и опять стрелял.

И когда они ворвались в чистенькие узкие улочки города, Волков увидел первого немца. Немец стоял на фоне горящего дома, прижимал к животу автомат, и из ствола автомата брызгало что-то похожее на бенгальский огонь. В другой руке немец держал гранату с длинной деревянной ручкой. Немец как-то лениво взмахнул рукой и бросил гранату. Она летела, медленно переворачиваясь в свете горящего дома.

Волков бессознательно кинулся вперед, к немцу. Но в это время что-то мягко и сильно толкнуло его в спину, и Волков, удивленно оглянувшись, увидел опадающий куст взрыва. Тогда он лег на землю. Кружилась голова, и очень тошнило. Вокруг стояла тишина, и все, что еще видел Волков, двигалось медленно и плавно, словно он к этому всему уже никакого отношения не имел...

Госпиталь находился в Ленинграде, на Фонтанке, в помещении бывшей школы. Волков лежал в актовом зале у громадного окна. В зале стояло семьдесят кроватей, и это была самая большая и шумная палата.

Рядом с Волковым лежал ефрейтор Остапенко, человек лет сорока пяти, с большими ухоженными усами. Остапенко служил полковым поваром и был ранен при весьма анекдотичных обстоятельствах. Историю его ранения знал весь госпиталь. Он вез обед во второй эшелон и подорвался на mine. Крышкой термоса из-под каши ему вырвало кусок ягодицы, и Остапенко шумно страдал...

Остапенко пел украинские песни и учил Волкова жить.

Седьмого ноября в госпиталь приехал член Военного совета фронта награждать раненых и поздравить их с праздником.

Член Военного совета вошел в актовй зал в коротком халате, накинутом на плечи. После некоторого замешательства ему удалось сказать небольшую речь.

Затем член Военного совета пошел по палате, останавливаясь у каждой койки. За ним везли обыкновенную каталку для тяжелораненых, накрытую куском материи. На каталке были разложены коробочки с орденами и медалями. За каталкой шли адъютанты, врачи, гости.

— Где ранен? — спрашивал член Военного совета.

— В бою под Гречишками...

И член Военного совета вручал награду, прикрепляя ее к рубашке раненого.

— Где ранен?

— В обороне под Сизово, — отвечал раненый.

— Ну что ж, поправляйтесь, товарищ боец, — говорил член Военного совета и пожимал руку раненого.

Когда он дошел до Волкова, то удивленно поднял брови и, подойдя совсем близко, спросил:

— Сколько же тебе лет, милый?

— Семнадцать, товарищ член Военного совета.

— Это где ж тебя так угораздило? — тихо, домашним голосом спросил член Военного совета.

— В атаке на... — Волков запнулся. — Забыл, как его... В общем, ночью.

Член Военного совета грустно покачал головой, взял с каталки медаль «За отвагу» и нагнулся к Волкову:

— На вот, носи... Черт знает что делается!.. Тебе рано воевать, мне поздно... Время такое, что лучше бы его и вовсе не было.

— Это точно, — шепотом сказал Волков и улыбнулся.

Потом член Военного совета подошел к кровати Остапенко и уже весело спросил:

— Ну, а ты где ранен, старина?

Остапенко покраснел и напряженно забормотал:

— Да вот, понимаешь, товарищ член Военного совета... Тоже оно, значит, ранен я...

— Тоже в атаке? — попытался помочь член Военного совета.

— Да ведь как сказать... Тоже вроде как бы, понимаешь... Ежели оно смотреть, можно по-разному... — окончательно запарился Остапенко.

Вся палата и врачи давились от тихого хохота.

— Экая ты усатая скромница!.. — сказал член Военного совета и вручил Остапенко медаль «За боевые заслуги».

Когда все кончилось и член Военного совета ушел в другие палаты, актовъй зал дрогнул от

хохота. Остапенко лежал растерянный, совершенно придавленный своим нелепым награждением. Волкову стало очень жалко его. Но тот вдруг приподнялся и, перекрывая хохот, закричал на весь зал страшным голосом:

— Чего ржете, кобели? Чего ржете-е?! Я еще за нее отработаю! Так отработаю, что чертям тошно станет!

И все замолчали. Остапенко обессиленно опустился на койку и виновато сказал Волкову:

— Вот, понимаешь, какая штука получилась...

В конце декабря Волков выписался из госпиталя. Он шел по Фонтанке, и под его сапогами скрипел снег. От слабости кружилась голова и ноги казались легкими и неустойчивыми.

Он дошел до своего дома, немного постоял и вошел во двор. Двор показался ему очень маленьким, и Волков удивился, вспомнив, как несколько лет назад он научился ездить на велосипеде именно в этом дворе. Он зашел к Хабибуллину и взял у него ключи от квартиры.

— Салям, — сказал Хабибуллин. — Живой, здоровый?

— Живой, — ответил Волков и направился к себе на третий этаж.

Он остановился у дверей своей квартиры и почему-то осторожно вставил ключ в скважину. Машинально он глянул в отверстия почтового ящика и увидел там письмо. Волков вынул нож, подаренный ему Остапенко, открыл ножом ящик и достал письмо.

В сумраке лестницы разобрал только, что «Волкову», и подумал: «Надо будет отцу переслать», а потом плюнул и решил вскрыть конверт. По конверту бежали волнистые линии штампа цензуры.

Волков надорвал конверт и вынул типографский бланк со вписанными чернилами словами.

Это было извещение о гибели отца.

...На рейхстаге Волков расписался четыре раза. За себя, за мать, за отца и за мертвого Сашку Рейна... Постоял немного, подумал и расписался в пятый раз. За Федосеевну.

В июне сорок пятого пришел приказ: «Всех военнотружущих рядового и сержантского состава рождения 1926—1927 годов, имеющих образование не ниже восьми классов, направить в офицерские училища и школы для прохождения дальнейшей службы...»

Волков попал на Урал в военно-авиационную школу.

Целый год Волков ходил в караул и занимался в классах УЛО — учебно-летного отдела. Он изучал радиосвязь, теорию полета, воздушную навигацию, аэродинамику, бомбометание, моторы, стрелково-пушечное вооружение, аэрофотосъемку и многое другое.

Кроме того, Волков занимался акробатикой.

Начальником отдела физической подготовки школы был лейтенант Король, бывший цирковой артист. Это был франтоватый и веселый человек. Он носил хромовые сапоги с белым рантом, широčenные бриджи и фуражку с огромным околышем и микроскопическим козырьком. Он нравился радисткам, оружейницам, хронометражисткам и медицинским сестрам. Его сальто, стойки и большие обороты на турнике вызывали уважение и зависть.

Король умел со всеми ладить. С девчонками, служившими в школе, Король разговаривал с небрежной нежностью, с курсантами старался быть в приятельских отношениях, а перед старшими офицерами щеголял прекрасной выправкой и безоговорочной исполнительностью.

Он красиво носил форму, и девицы с танцплощадки принимали его за летчика. Когда же его спрашивали, почему он сейчас не летает, Король туманно намекал на какую-то таинственную историю, в связи с которой он временно должен находиться не в воздухе, а на земле. И тогда его косые полубачки, вылезавшие из-под сдвинутой набекрень фуражки, казались еще более привлекательными, и Король ходил по городку под звон осколков девчоночьих сердец.

Среди молодых курсантов Король сыпал разными мудреными летными словечками, и новички были убеждены, что перед ними ас, случайно пересевший из кабины бомбардировщика в маленькую дощатую комнатку, увешанную

спортивными грамотами и уставленную пыльными мельхиоровыми кубками.

Король вел секцию акробатики, а Волков с первых же дней пребывания в школе был избран старшиной секции.

В небольшое свободное от караульной службы и занятий в УЛО время Волков тренировался под руководством лейтенанта Короля.

Тренер не мог нарадоваться на своего ученика, а ученик совершенно ясно, до жалости сознавал пустяковость своего тренера как человека вообще, но не мог не отдавать ему должное как профессиональному акробату...

— Как вы себя чувствуете, Дмитрий Сергеевич?

Волков открыл глаза, и боль, все усиливаясь и усиливаясь, снова стала разъедать его тело. Теперь он уже лежал в маленькой, очень светлой комнате, и трое в белых халатах стояли вокруг его кровати, а четвертый — худой старик в очках — сидел рядом на стуле.

— Как вы себя чувствуете, Дмитрий Сергеевич? — повторил старик в очках.

Волков с трудом вдохнул, набрал силы и ответил:

— Хуже некуда...

К своему удивлению, он ответил шепотом, но старик все расслышал и сказал без улыбки:

— Есть куда и хуже.

— Я здесь давно?.. — шепотом спросил Волков.

— Нет, — ответил старик. — Третий день.

— Что со мной?

— Уйма всяких неприятностей.

— Поправимых?.. — Волков задыхался от боли.

— Вполне, — сказал старик.

— Доктор!.. — отчаянно сказал Волков. — Вы же доктор? Да?

— Да.

— Доктор... — сказал Волков. — Вы мне дайте что-нибудь против боли... Или наркоз какой-нибудь... Мне бы хоть часок отдохнуть! Я посплю часок и опять буду терпеть... А сейчас у меня силы кончились... Вы меня усыпите как-нибудь ненадолго.

— Дайте Дмитрию Сергеевичу бромурал с нембуталом, — сказал старик через плечо, и кто-то из стоящих за его спиной закивал головой. — Пусть поспит, отдохнет.

— Спасибо, — сказал Волков. — Как вас зовут, доктор?

— Гервасий Васильевич, — ответил старик и, не уверенный в том, что Волков разобрал его имя, снова повторил: — Гервасий Васильевич.

Волков еще в четверг сказал партнеру:

— Слушай, ты, любимец публики!.. У тебя совесть есть?

Их номер только что кончился, и они, мокрые, задыхающиеся, стояли почти у самого занавеса и ждали униформистов, которые должны были принести реквизит с манежа.

Партнер стягивал через голову креп-сатиновую рубашку, и, несмотря на то что рубашка была сшита блестящей, скользкой стороной внутрь, она никак не снималась, и Волков не видел лица партнера, а видел только его мокрую согнутую узкую спину со слабо обозначенными мышцами.

— Я тебя спрашиваю, у тебя совесть есть? — повторил Волков.

Партнер наконец стянул с головы рубашку и удивленно посмотрел на Волкова. Он тяжело дышал, и смазанный красный грим рта придавал его лицу застывшее печальное выражение.

— Ты чего? — спросил партнер.

Волков расстегнул воротник и снова повторил:

— Совесть у тебя есть?..

Но в это время из-за занавеса двое униформистов вытащили за кулисы их реквизит, и один из них, услышав слова Волкова, негромко хохотнул:

— Хо-хо, там, где у людей совесть, у него знаешь что выросло? Я ему, можно сказать, как ангел-хранитель, жизнь берегу! Каждую репетицию лонжу держу, а он хоть бы «маленькую» поставил...

— Ладно, — сказал Волков униформисту. — Чеши отсюда.

— Ты чего, Дим? — растерянно спросил партнер. — Хорошо ведь отработали...

Волков тяжело посмотрел на партнера, и ему вдруг страшно захотелось ударить его в лицо. В тонкое, интеллигентное, красивое лицо. Ударить так, чтобы лицо исказилось, стало безобразным, заплывшим, чтобы сразу почувствовать к нему отвращение и уже потом бить, не жалея, сознательно распаяя в себе слепую ярость, концентрируя в этой ярости всю свою растерянность последних лет, всю жалость к себе и партнеру — к этому двадцатидвухлетнему хорошему парню...

— Стасик!.. — сказал Волков. — Долго я буду говорить, чтобы ты на два с половиной сальтомортале ноги шире подавал?! Ведь угробимся когда-нибудь!..

Это случилось в воскресенье. На детском утреннике.

В финале номера Волков увидел летящего на него Стасика и успел подумать: «Опять ноги узко несет, сволочь!..» В ту же секунду Волков почувствовал сильный удар в левый локоть, поймал Стасика и, стараясь остановить инерцию его шестидесяти трех килограммов, после двух с половиной бешеных оборотов в воздухе услышал, как с хрустом разрывается левый локтевой сустав.

Цирк заплодировал.

Волков осторожно поставил Стасика на красный ковер манежа и поклонился. Подождал немного и поклонился еще раз.

Обычно он кланялся три раза. Во время третьего поклона Волков незаметно снимал с лица небольшую смешную маску, в которой работал весь номер — от выхода на манеж до второго поклона. На оправе от очков намертво был укреплен нос из папье-маше и уже к носу были приклеены веселые дворницкие усы. Маска плотно сидела на лице, не мешала работать и легко снималась. «Разоблачение» в третьем поклоне всегда вызывало новую, удивленную волну аплодисментов...

Боль захлестнула сознание Волкова, левая рука повисла вдоль слабеющего тела, и к горлу подступила тошнота. Его всегда тошнило от сильной боли...

Волков осторожно повернулся и, не снимая маски, медленно пошел за кулисы.

За занавесом Волков лег на деревянный щитовой пол и прохрипел кому-то:

— Врача давай!.. — И выругался.

Прибежала испуганная девушка в белом халате, дежурный фельдшер. Стасик и еще двое парней из номера акробатов-прыгунов помогли Волкову дойти до гардеробной и сняли с него рубашку с широкими рукавами. Волков кряхтел от боли.

Кость предплечья вышла из сустава, и локоть выглядел так непривычно, что Стасик в ужасе охнул.

— Ну что там?.. — еле проговорил Волков.

— Дима, прости меня... Дима!.. — тоненьким голосом выкрикнул Стасик.

— Ну что там такое?.. — повторил Волков, посмотрел на свою руку и сам увидел, что там такое.

— Ох ты черт!.. — сказал Волков. — Вот гадость-то...

В гардеробную вбежал директор цирка. Он увидел лежащего на реквизитном ящике Волкова, бросил быстрый взгляд на его руку и, сморщившись, жалобно запричитал:

— Ну сколько раз я просил не делать финальный трюк! Ну зачем вам это было нужно?.. Это же не стационарный, это же передвижной цирк. Ну нет у нас условий... Нету! Что это вам — Москва, Ленинград, что ли?! Боже мой!.. Ну вызовите кто-нибудь «скорую помощь»!

Прибежал Третьяков — руководитель труппы акробатов-прыгунов. Отстранил девушку в белом халате, деловито осмотрел руку Волкова и быстро сказал:

— Невезуха, Димка... Прямо такая невезуха, что дальше ехать некуда. Вправлять надо...

— Сейчас «скорую» вызовут, — сказал директор.

— Какую там «скорую»! — махнул рукой Третьяков. — Сейчас вправлять надо. А то потом запухнет и не разберешь, что где.

Он отыскал глазами девушку-фельдшера и распорядился:

— Тащи шприц, новокаин и пару ампул хлорэтила. Быстро давай! Стасик! Поищи какое-нибудь шмотье мягкое... Так. Клади его под голову... Порядок. Димка, повернись чуть-чуть на бок. Можешь?..

Прибежала девушка-фельдшер и протянула Третьякову шприц и новокаин.

— Чего ты мне шприц суешь?! — возмутился Третьяков. — Обезболивай ему локоть! Сумеешь?

— Сумею, — кивнула девушка.

— Потерпи, Димка, — мягко сказал Третьяков. — Сейчас все будет в ажуре...

Девушка уже набирала новокаин в шприц.

— По сколько? — спросила она Третьякова и шмыгнула носом.

— Давай три укола по двадцать кубиков, и порядок, — ответил Третьяков и повернулся к Волкову: — Помнишь, в пятьдесят седьмом в Саратове на репетиции у меня плечо выскочило? Тоже три укола по двадцать кубиков, хлорэтилчиком подморозили, я и не слышал, как мне его на место поставили...

Девушка сделала первый укол. Волков скрипнул зубами и мгновенно вспотел.

Третьяков погладил Волкова по голове и сказал Стасику:

— А ты дуй в буфет и притащи коньяку! Сейчас наш Димуля примет двести — и как рукой все снимет!..

— Никакого коньяку! — неожиданно жестко произнесла девушка. — Еще новости!.. Алкоголь нейтрализует обезболивающие средства...

Третьяков смутился.

— Я думал как лучше, — пробормотал он. Затем огляделся, словно ища поддержку, и увидел своих прыгунов. — А ну валяйте отсюда! — рявкнул он грозно. — Ишь собрались, как на поминки! Давайте, давайте! И так воздуху никакого...

Через десять минут кость была вправлена в сустав, и обессиленный Волков глубоко вздохнул.

— А теперь тугую повязочку — и будьте здоровы, живите богато! — радостно сказал Третьяков, и было непонятно, к кому он сейчас обращается, к Волкову или к девушке.

Волков слабо улыбнулся, а девушка, стыдясь своей растерянности и слез, огрызнулась:

— Будто без вас не знаем!

И, уже забинтовывая руку Волкова, с достоинством сказала всем стоящим вокруг:

— В таких случаях фиксация конечности — первое дело.

В больницу Волков отказался ехать. Он еще полежал в гардеробной, покурил с Третьяковым и выслушал не одну историю о травмах, падениях и переломах. Каждый, кто заскакивал проведать Волкова, считал своим долгом рассказать о каком-нибудь случае из собственного опыта или уже известную, ветхозаветную байку про то, как какой-то воздушный гимнаст сорвался с трапеции, ляпнулся с высоты в семнадцать метров, встал, раскланялся и ушел с манежа под гром аплодисментов. А на следующий день работал как зверь! Еще даже лучше...

Каждая такая история кончалась счастливо и героически. О переломах и травмах говорили подчеркнуто пренебрежительно, громко смеялись, наперебой чиркали спичками и зажигалками, когда Волков хотел прикурить, и только изредка тревожно поглядывали на Волкова — не плохо ли ему? И, понимая, что плохо, еще громче хохотали, вспоминали совсем уже невероятные случаи, презрительно ругали передвижные цирки и проклинали тот час, когда отдел формирования программ загнал их в эту «передвижку», в этот паршивый среднеазиатский городок...

Раза три приходила девушка-фельдшер, достойно щупала пульс у Волкова и морщила носик, когда ей предлагали выпить. Третьяков все-таки притащил бутылку коньяку и тарелку с дорогими конфетами. Стасик где-то раздобыл лимон, нарезал его и сервировал «стол».

Волков и Третьяков выпили по стакану, а Стасик отказался. Третьяков за это похвалил Стасика и начал было длинный разговор о вреде пьянства среди цирковой молодежи вообще. Но Волков прервал его, сказав, что Стасик совершенно не пьет и поэтому страстное выступление Третьякова воспитательного значения не имеет.

Третьяков расхохотался, набил карман девушки конфетами и попытался назначить ей свидание на вечер.

Она тут же оправилась от состояния неуверенности и, выйдя из гардеробной, презрительно бросила Третьякову:

— Господи! Старые, а туда же...

Третьякову было тридцать девять, и это его обидело. Он слил остатки коньяка в один стакан, залпом выпил и обиженно сказал, глядя на закрытую дверь:

— Скажите пожалуйста!..

Так шел этот день.

И только когда прозвенел первый звонок вечернего представления, Волков приподнялся с реквизитного ящика и сказал Стасику:

— Ну что, старик, домой потопаем?

Экследитор цирка снял им отдельную двухкомнатную квартиру на окраине городка. Хозяева квартиры уехали на два месяца в горы, и Волков со Стасиком жили в этой квартире припеваючи.

Третьяков был раздражен и почему-то ругал Среднюю Азию.

— Ты зря выпил, — сказал ему Волков. — Тебе же еще работать на вечернем.

— Не боись, — ответил Третьяков. — Я сегодня в работу не иду. Сегодня вечером пробуем на мои трюки одного огольца из училища. Так что я только на пассировку выйду...

— Это какого же огольца? — поинтересовался Волков. Его мутило от боли, и сильно кружилась голова. И он старался быть занятым еще чем-нибудь, кроме боли.

— Ну новенький у меня такой... Сергиенко, — грустно сказал Третьяков. — Хороший паренек. Куражливый...

— А, это который в плечи с купэ ловит? Школьный пацан...

— Молодой, вот что главное... — вздохнул Третьяков.

— А мы? — подмигнул ему Волков и, покачавшись, осторожно, чтобы Стасик и Третьяков не заметили, придержался правой рукой за косяк двери.

— А мы тоже... молодые. Но уже не очень, — усмехнулся Третьяков. — В этом она права.

— Ладно, ладно, — рассмеялся Волков. — Не развращай мне Стасика. Юный партнер зрелого мастера должен верить в неиссякаемые силы своего мэтра...

— Я и верю, — сказал Стасик.

— И на том спасибо. Сделай, сынок, дяде ручкой, и попробуем уползти в норку...

За кулисами прозвенел второй звонок. Третьяков мотнул головой, словно хотел стряхнуть с себя печаль, и сказал Волкову:

— Дима, я после представления возьму чего-нибудь и зайду к тебе. Стасик нам кофе сварит...

— Нет, — сказал Волков. — Не приходи. Я попробую отлежаться.

— Ладно, — согласился Третьяков. — Тогда до завтра. У вас деньги есть?

— Есть, — сказал Стасик.

— А то смотрите... Мне тут главк премиюку подбросил.

...Домой добирались долго — с остановками, перекурами. Через каждые пятьдесят—шестьдесят метров Волков присаживался на теплый каменный бортик арычного мостика и молча

сидел минут десять. Стасик стоял рядом и страдал от сознания своей вины и беспомощности. Затем Волков протягивал руку, Стасик поднимал его, и они шли дальше для того, чтобы снова присесть на бортик следующего арычного мостика.

Дома Волков снял туфли, с помощью Стасика взгромоздился на высокую кровать и закрыл глаза. Ему хотелось остаться одному и перестать контролировать каждое свое движение, вслушиваться в то, что говорит Стасик, и подыскивать наиболее удобный для Стасика ответ.

— Может быть, тебе кофе сварить? — спросил Стасик.

— Да нет, не стоит... — ответил Волков, не открывая глаз. — Я хочу попытаться уснуть.

— Тебя накрыть чем-нибудь?

— Не нужно, Стас... Жарко.

— Сигареты оставить?

— Оставь. Иди к себе, ложись, отдохни. Ты тоже перепсиховал, измучился...

— Может быть, нам действительно выбросить этот трюк, а?

— Не говори чепухи.

— Ты слышал, что директор сказал?

— Директор — глупый, трусливый администратор. Иди отдохни... Я позову тебя, партнерчик. Иди.

Часа через два Волкову стало совсем худо. Боль начиналась в руке и разливалась по всему телу. Волков задыхался. Его бросало то в жар, то в озноб. Мерещилась квкая-то чертовщина, отку-

да ни возьмишься возникла музыка — старые, пятнадцать—двадцать лет тому назад слышанные мелодии... Повязка врезалась в руку, и Волкову казалось, что если он снимет повязку, то сможет глубоко вздохнуть и ощущение удушья пройдет немедленно. Но снять бинты не было сил, и Волков лежал неподвижно. Изредка он открывал глаза, и тогда музыка исчезала. Какое-то время Волков пытался сосредоточить свой взгляд на большом цветастом термосе. Этот термос Волков уже несколько лет возил с собой, и в каждом городе, в каждом новом гостиничном номере или в каждой чужой комнате термос с фантастическими розовыми цветами и ярко-синими колибри был олицетворением дома. Это был самый реальный предмет волковского существования. Только он, нелепо раскрашенный, старый китайский термос, мог вернуть сейчас Волкова из забвения в реальную боль.

За окном, на маленьком заводике цементных плит, равномерно и глухо стучал насос. Может быть, насос, его точный ритм и не давали уснуть Волкову. Очень ровно стучал насос...

Волков оторвал взгляд от термоса и закрыл глаза. И тогда, слушая стук насоса, он услышал стук собственного сердца. Сердце стучало в унисон насосу цементного завода. Сначала Волков лежал спокойно и с удивлением, отстранившим боль, слушал слитные звуки насоса и сердца. Их точное совпадение поражало. А потом в мозг стал вползать ужас: а вдруг насос остановится?! Насос

цементного завода и сердце Волкова слились воедино, и теперь Волков лежал и молил бога, чтобы кто-нибудь не выключил насос. Если там, за окном, сейчас выключат насос — здесь, в комнате, остановится сердце!..

Волков, беспомощный и неподвижный, лежал и ждал смерти.

А потом сердце стало стучать быстрее и выпало из четкого ритма заводского насоса. От учащенного сердцебиения Волков стал задыхаться и успокаиваться. Теперь пусть выключат насос!.. Волков сам по себе, насос сам по себе...

Так, задыхаясь, он задремал, и ему привиделся уличный бой, и его автомат мог стрелять одиночными, да и то заклинивал после каждого выстрела, сволочь...

— Стаси-и-ик! — закричал Волков.

— Я здесь, Дима... Я здесь... Вот я... — Стасик одной рукой приподнял голову Волкова, а другой вытер слезы и пот с его лица.

— Стасик... Ты здесь?..

Воспаленными глазами Волков посмотрел на Стасика и слабо проговорил:

— Ты прости меня.. Мне все какая-то дрянь чудится...

— Дима, — осторожно сказал Стасик. — Дима, ты очень горячий.

— Я тебя разбудил? — Волков уже пришел в себя.

— Нет. Я читал. Дима, ты такой горячий!..

— Давай бинты снимем.

— Что ты! Что ты!

— Давай снимем, Стасик... Посмотри, как врезались.

Из-под белых бинтов выползла багровой опухолью кисть руки Волкова.

— Видишь? — сказал Волков. — Давай снимем. Может, легче будет.

— У тебя и плечо опухло...

— Я повернусь, а ты тихонечко сматывай бинт.

— Ладно.

Стасик стал осторожно разматывать повязку.

Рука совсем потеряла форму. Она опухла от плеча до пальцев, опухла неровно, бугристо, а в районе локтя была расцвечена белыми и красными полосами.

— Что это? — испуганно спросил Стасик.

— Черт его знает... — ответил Волков. — Я такого еще не видел. Прикури мне сигаретку...

Стасик прикурил сигарету, передал ее Волкову и быстро проговорил:

— Дима, я побегу на улицу, попробую поймать какую-нибудь машину... Я в один момент... Мы в больницу поедем.

Волков понял, что останется один.

— Не уходи, Стас!.. Не уходи...

— Ну что ты, Дим? Я же в одну секунду...

— Не уходи, Стас... — повторил Волков и спустил ноги с кровати. — Мы с тобой вместе найдем машину.

...Не было никаких машин на этих теплых черных улицах. Они пешком пришли в больницу.

Стасик втащил Волкова в приемный покой, уложил его на белую пятнистую клеенчатую кушетку, а потом долго и сбивчиво пытался объяснить дежурному врачу все, что произошло сегодня в цирке и дома.

Но Волков этого не слышал...

Стасик стал его партнером два года назад. Номер, в котором работал Волков последние несколько лет, рассыпался, и Волков около полугода искал себе партнера.

До Стасика Волков работал с двумя партнершами — Кирой Сизовой и Милкой Болдыревой. Обе были замужем, мужья тоже работали в цирке и виделись со своими женами два-три раза в год, если не считать тех трех-четырёх дней за пару месяцев, когда цирки стояли рядом — километрах в восьмистах друг от друга. Тогда партнерши Волкова улетали к своим мужьям на то время, пока поезд будет тащить багаж и артистов всей остальной программы в следующий цирк. Такими переездами пользовались и мужья. Они тоже прилетали к своим женам, а потом снова улетали в очередные цирки, перессорившись и перемирившись за эти пятьдесят — шестьдесят часов неумелой супружеской жизни...

Изредка их номера соединяли в одной программе, но, когда вдруг приходил приказ расформировать программу и разослать все номера по разным циркам, Волков каждый раз с удивлением замечал, что Милка и Кира упаковывают свой

личный багаж без особых огорчений. Из таких разлук мужья тоже не устраивали никаких трагедий, и они разъезжались в разные концы страны весело и облегченно...

А через месяц все начиналось сызнова: двухдневные свидания, ссоры, примирения и нескончаемый поток писем в Москву, в отдел формирования программ, с просьбой соединить номера, так как жизнь-то рушится...

Все это еще осложнялось тем, что Волков любил Милку Болдыреву. Любил давно, с первых дней совместной работы; любил нежно, затаенно, никогда не говоря Милке о своей любви.

И номер распался. Поначалу Волкову предложили взять двух девочек из циркового училища, сесть с ними на репетиционный период в каком-нибудь тихом цирке и повторить свой прежний номер. Волков съездил пару раз в училище, посмотрел выпускной курс и твердо решил не возвращаться к старому номеру.

В какой-то момент ему показалось, что даже более молодые и красивые, более техничные и смелые девочки не заменят ему Милку и Киру, с которыми он проработал больше пяти лет и был в курсе всех их увлечений, семейных неурядиц и болезней их детей...

Кира с Милкой очень здорово на два голоса пели «Куда бежишь, тропинка милая...» и еще одну песню. Начало той песни Волков не помнит, но там такие строчки были: «Как у нас за околицей дальнею застрелился чужой человек...»

Очень они здорово пели!..

Волков отказался делать номер заново и стал подыскивать себе партнера, с которым можно будет отрепетировать сильные трюки, отойти от канонов жанра и создать совсем-совсем новый номер. Какой, он еще и сам не знал толком. Важно было не повторить известные традиционные образцы — это Волков понимал ясно и четко. Или уходить из цирка к чертовой матери...

Впервые Волков почувствовал желание уйти из цирка три года назад, в Хабаровске. Что-то тогда сломалось в нем, что-то произошло такое, отчего Волкова стало мучить желание уйти из этого номера, из цирка, уехать куда глаза глядят и начать жизнь заново. Как после демобилизации, когда военных летчиков стали увольнять из армии, а в ГВФ попасть не было никакой возможности.

Это тогда Волков правильно сделал, что в цирк ушел. Дай бог здоровья этому пижону, лейтенанту Королю!

Волков еще в пятьдесят первом встретил его случайно, и Король познакомил его с руководителем номера «Воздушный полет».

За семь лет, что Волков проработал в «полете», он многому научился.

Когда умер руководитель, в прошлом лучший полетчик русского цирка, партнеры разъехались кто куда, а «полет» расформировали.

Через год Волков уже работал с Милкой и Кирой...

Да, конечно, это началось с Хабаровска. А может быть, раньше? Нет, с Хабаровска. Раньше Волков все еще на что-то надеялся, все ждал чего-то.

В Хабаровске все артисты программы жили в длинном одноэтажном бараке во дворе цирка. Сквозь весь барак от торца до торца тянулся узкий коридор. По обеим сторонам коридора были небольшие комнатки, разделенные щитовыми стенками. Коридор был застлан прогибающимися досками, и во время дождей сквозь щели проступала вода, а когда дождей не было — доски под ногами пружинили, снимали с человека часть его веса и при ходьбе давали ему то чуть-чуть нереальное ощущение легкости, которое, испытав один раз, хочется чувствовать ежедневно, ежеминутно. Вот такая маленькая победа над земным притяжением... И Волков с удовольствием ходил по этому коридору, стараясь точно уловить темп прогиба каждой доски.

Тогда он работал с Кирой и Милкой.

Все холостые жили в правом крыле барака, все семейные — в левом.

Волков и Милка занимали две крайние комнатки, и их разделяла тоненькая фанерная стена. Кира с дочерью жила в левом крыле. Она откровенно завидовала Милке, которая оставила сына своей матери и приехала в Хабаровск одна. Мужья работали в других цирках, и последние несколько месяцев отдел формирования программ то ли забывал соединить все три номера вместе, то ли не делал этого сознательно.

— Вот отработаете Дальний Восток, обязательно соединим! — сказали Милке и Кире в Москве.

А Дальний Восток — это верных пять месяцев: Владивосток, Хабаровск, Уссурийск... А там, глядишь, и Красноярск на обратном пути воткнут. Переезды, простои, то, се, пятое, десятое... Так полгода и наберется.

На прошлой неделе в Хабаровск после отпуска приехал жонглер Ванька Зарубин. Встретились, посидели, выпили. Ванька возьми и брякни, что Игорь Болдырев — Милкин муж, полетчик из номера Серебровских — в Минске такую бабу на представление приволок, что все ахнули. Киноартистка. И в том фильме играла, и в этом... Закачаешься!

А Милка закурила и спокойно сказала всем:

— Господи, да что я, не понимаю, что ли? Шутка ли, пять месяцев в разных концах света.

Она даже склонила голову на плечо Зарубину, рассмеялась и добавила:

— Ну и пусть! Он в Минске с киноартисткой, а я, Зарубин, здесь с тобой закручу так, что дым коромыслом пойдет. Точно?

— Точно... — закричал Ванька и положил руку Милке на колено.

— Убери руку, болван несчастный! — зло сказала Милка, погасила сигарету и ушла.

...Ночью Волков лежал, курил и слушал, как тихонько всхлипывает Милка за фанерной перегородкой. Слышен был каждый вздох, каждый

шорох. Иногда Волкову казалось, что фанерная стенка даже усиливает звук, делает его еще более реальным.

Вот Милка чиркнула спичкой, и в ту же секунду на стене со стороны комнаты Волкова засветился нежным оранжевым светом маленький кружок под афишей. В фанере была дырка, и Волков, как только въехал в эту комнатенку, сразу же завесил ее афишами.

Погас оранжевый кружочек, и Волков почувствовал запах Милкиной сигареты. Минуту они оба молчали, а потом Милка откашлялась и спросила:

— Ты не спишь?

— Нет.

— А я, дура, плакать громко боялась...

— Не бойся.

И еще минуту они покурили молча.

— Димуля, — сказала Милка, — ты не можешь тихонечко придвинуть свою кровать к моей стенке?

Волков встал, поднял кровать и осторожно перенес ее к противоположной стене.

Он стоял посередине маленькой фанерной комнатки и не отрываясь смотрел в окно на огромную неправдоподобную луну, и сердце его стучало так громко, что Волков зажал всю левую сторону груди ладонями, боясь, как бы стук его сердца не был услышан Милкой...

— Ну что же ты? — шепнула Милка. — Ложись...

Потом они лежали в кроватях, и их разделяла только тоненькая фанерная перегородка, оклеенная чужими безвкусными афишами, и Волков слушал дыхание Милки и пытался унять стук собственного сердца.

— Ты пойми меня, — говорила Милка. — Ты пойми... Кирка этого не поймет... Я Игоря давно не люблю... Уже несколько лет. Ты что думаешь, я по нему плачу? Я по себе плачу... Мне себя жалко. Я вот тебя люблю... И ты это знаешь! А разве я могу что-нибудь... Ведь сожрут, растопчут... По всем циркам бабье грязь понесет... И не смей сейчас ничего говорить! Молчи. Слышишь? Обязательно молчи!..

И Волков молчал, прижимаясь лицом к бумажной афише, и ему казалось, что стоит протянуть руку, и пальцы его осторожно коснутся мокрого Милкиного лица...

Это верно, Кирка не поймет... Кирка — человек недобрый. Прекрасный работник, куражливый акробат Кирка. А человек странный. Вот бывают же такие люди: для постороннего в лепешку разобьются, а со своими — стерва. Както особенно ловко умеет ударить человека по самому больному месту. И все это облекается в удивительно честную форму: мол, я же правду говорю. Я лучше в глаза скажу, чем за спиной пошепчусь... Вот так начнет она играть с человеком в «его» правду, а у самой в глазах неприкрытое сладострастное торжество истязателя... И все время демонстрирует широту, доброту, искренность... А сама внутри кипит такой зави-

стью и злобой, что порой за нее страшно становится.

У Кирки злая кошачья мордочка, зато фигурка — обалдеть можно! Именно «фигурка». Ладная, крепенькая, изящная. Но это в манеже или на пляже. Одета Кирка всегда неряшливо, и все ей великовато — в одежде Кирка обычная маленькая, суетливая женщина. Никто внимания не обратит...

Милка мягче, женственнее, ленивее. Милка повсюду свой человек. Все ее любят, все к ней тянутся. Какой бы пустяк ей ни рассказывали, Милка слушает так, что любо-дорого посмотреть. Брови удивленно приподняты, глаза внимательные, следят за каждым движением говорящего, а губы все время шевелятся, изменяют выражение, словно Милка про себя говорит: «Ну да? Ай-ай-ай!.. Вот так штука!.. Ну и дела!..» И поэтому к Милке все хорошо относятся. Милка и водки с удовольствием выпьет, и частушку не бог весть какую приличную споет. И все к месту, все так по-свойски, что спроси кого угодно — нет человека лучше Милки!

Правда, Волков знает, что Милка никогда ни за кого горой не встанет и в штыки не пойдет, даже когда необходимость этого будет очевидна. Она только головой покачает или поплачет тихонько — на том дело и кончится. Волкову иногда кажется, что Милкина цель жизни — сохранить со всеми хорошие отношения. В таких случаях Кирка становится ближе Волкову. Даже несмотря на то, что Волков знает цену Киркиных добрых

дел. Она потом об этом сама без устали говорить будет. Она эти добрые дела вроде бы для себя делает: поможет человеку, где-нибудь переругается за него, из беды какой-нибудь выручит и при любом удобном случае будет об этом вспоминать и рассказывать...

Однако в цирке Волков усвоил следующее: все, что ты понимаешь про своего партнера, все, что, может быть, незаметно другим, так и должно оставаться тебе понятным, а другим нет. Вы партнеры, и проникновение в недостатки друг друга — ваше личное дело. Для посторонних твой партнер должен быть частью тебя самого, и лучшего партнера желать вслух ты не имеешь права. И тогда во всех цирках будут говорить, что номер под руководством Волкова не только «отличный номер, но и прекрасный дружный коллектив». А это очень важно в условиях постоянных перездov, изнурительных репетиций, ежедневных представлений, неприкаянности и нервотрепки. И в хороших цирках работать будешь, и за границу легче пробиться...

В одной из последних поездок за границу с Волковым произошла забавная история...

Четыре года назад в Москву приехал греческий миллионер и промышленник Христо Аргириди. Программа «Интуриста» привела Аргириди на Цветной бульвар, 13, в цирк. Аргириди посмотрел представление и на следующий день заявил, что хотел бы организовать гастроли Московского цирка в Афинах. Тут же, в Москве,

Министерство культуры — с одной стороны, а господин Аргириди — с другой стороны разработали и заключили договор о предстоящих гастролях артистов советского цирка в Греции. Все финансовые заботы взял на себя господин Аргириди.

На вопрос, в каком помещении будут выступать артисты, Аргириди ответил, что, хотя в Греции нет ни одного цирка, кроме порядком потрепанного в Акрополе, пусть это никого не волнует. К моменту приезда артистов в центре Афин будет стоять самый большой в Европе летний цирк.

Спустя несколько дней господин Аргириди известил Москву, что им куплено во Франции и уже перевезено в Грецию громадное шестикранцевое шапито, которое вмещает больше четырех тысяч зрителей.

...В Грецию летели через Югославию. Прямого сообщения Москва — Афины не было, и в Белграде пришлось делать пересадку на самолет компании «Эр Франс», который летел по маршруту Париж — Белград — Афины.

В Югославии на аэродром приехали работники советского посольства и помогли руководителю группы — представителю Министерства культуры оформить пересадку сорока с лишним человек цирковых.

Денег не было ни копейки, и Волков, Милка и Кира шатались без дела в ожидании самолета из Парижа. Потом Милка и Кира плотно

уселись в кресла холла, а Волков пошел побродить один.

Какой-то парень, направлявшийся к журнальному киоску, случайно увидел Волкова, остановился и тихонько засмеялся. Потом решительно подошел к Волкову, приподнял шляпу и сказал:

— Бонжур, месье!

— Бонжур... — растерянно ответил Волков.

— Коман са ва? — поинтересовался француз.

— Са ва бьен... — сказал Волков, мучительно вспоминая, где он видел этого французского парня.

— Ах ты ж, мать твою за ногу! — восхитился француз. — Димка! Ты что, сдурел? Ты что, серьезно меня не узнаешь?..

И только тогда Волков понял, что перед ним стоит не кто иной, как Сашка Плотников.

— Саня! — завопил Волков. — Какими судьбами?!

— Тебя встречаю, чучело! — захохотал Сашка и облапил Волкова. — Я же здесь в посольстве второй год... Как увидел списки афинской группы, так и помчался на аэродром!..

С Сашкой Плотниковым Волков был знаком с детства. Они учились в одной школе, в одном классе и были не то чтобы уж очень близкими друзьями, но относились друг к другу с хорошим мальчишеским уважением. А на дружбу у обоих просто времени не было. После армии

Саня окончил университет — сербскохорватское отделение, долгое время работал в ЦК комсомола, а потом уехал за границу...

— В прошлом году ваши цирковые здесь у нас выступали, — сказал Сашка. — В Белграде и Загребе. Месяца полтора сидели... Я все о тебе расспрашивал. Говорят, у тебя какой-то номер классный...

— Ничего номерок, — ответил Волков. — Не стыдный...

Саня огляделся, увидел буфетную стойку, подмигнул Волкову и спросил:

— Пошли?

Волков вывернул карманы брюк и ответил:

— С приветом.

— Вот дурень! — рассмеялся Саня. — Еще не хватает, чтобы здесь ты меня угощал!..

Волков разыскал Киру и Милку, познакомил их с Саней, и вчетвером они усидели бутылку джина под несметное количество маленьких чашечек великолепного кофе.

Потом из Парижа пришла «каравелла», и Саня провожал их до трапа и просил обязательно на обратном пути известить его о прилете в Югославию.

На прощание Саня и Волков обнялись, похлопали друг друга по спине, а Кире и Милке Саня галантно поцеловал руки. В последний момент Саня спохватился:

— Димка!.. Хочешь, я тебе динары дам? Пока вам еще аванс выдадут... Или нет, подожд-

ди... Где ты их там менять будешь! Сейчас, сейчас...

Саня лихорадочно рылся в карманах. Наконец он что-то нащупал и, сияя, вытащил новенький серебряный американский доллар.

— На, держи, Дим! — торжественно сказал Саня и потянул Волкову доллар. — Тут тебе и на чаевые, и на сигареты, и на пару рюмок хватит. Эта маленькая шайбочка там имеет еще вполне приличное хождение...

— Да брось ты... — запротестовал Волков.

— Не дури, — строго сказал Саня. — Дают — бери...

— Спасибо.

— Ладно. Лезь наверх. А то ваш руководитель и так косит на меня своим испуганно-ответственным глазом...

К Афинам подлетали в кромешной тьме. И только где-то на горизонте, далеко впереди, стоял таинственный светло-розовый туман. С каждой минутой туман рос и желтел. Приближалось время посадки. А потом вдруг как-то сразу желто-розовое облако стало огромным городом, и город этот угадывался только по миллионам дрожащих светящихся точек. Город освещал собой все небо, и его огненные блики впечатывались в консоли плоскостей летящей «каравеллы».

Заглянула стюардесса, по-приятельски подмигнула и, кивнув на полыхающую землю, спросила:

— Жоли?

— Очень... — ответил Волков. — Се тре жоли!

Стюардесса засмеялась и ушла, покачивая худеньким задом.

И все долгое время, пока «каравелла» теряла высоту, Волков сидел, прижавшись щекой к теплomu стеклу иллюминатора, смотрел на золотую россыпь огней и тихонько мурлыкал себе под нос:

— Ай лю-ли, ай лю-ли! Ай лю-ли, се тре жоли...

Группу артистов советского цирка встречали представители всех газет, фоторепортеры, кинохроника, работники советского посольства, актеры американского балета на льду, гастролирующего в Афинах, и целая куча любопытных граждан. И конечно, сам господин Христо Аргириди — почетный гражданин города, владелец всей конфекционной промышленности в стране, экспортирующий свою продукцию в полтора десятка стран мира, хозяин двух с половиной месячных гастролей русского цирка в Греции.

Волков еще из кресла видел, как по трапу стали спускаться сидевшие в первых двух салонах ребята. Они сразу же попадали в кольцо журналистов, принимали крошечные букетики неведомых цветов и складывали сумки и чемоданчики на маленький грузовой электрокар.

Когда Волков, обвешанный сумками и свертками, последним спустился с трапа, он увидел,

что маленький электрокар, заваленный ручной кладью, уже бодро катит в сторону от самолета... Волков прикинул на глаз расстояние до электрокара и понял, что тащить на себе эти сумки, свертки, рассыпающиеся журналы ему ужасно не хочется.

И тут его взгляд упал на стоящего около трапа здорового парнягу в джинсах и яркой рубашке. Парня буквально распирали тяжелая, очень рельефная мускулатура.

По всей вероятности, парень принадлежал к клану присамолетной прислуги, и Волков неожиданно для себя крикнул этому парню:

— Эй, бой! Ком цу мир! Абер шнель!..

Почему он обратился к этому парню по-немецки, Волков и сам не понял. Может быть, потому, что никак не мог вспомнить, как это нужно сделать на французском языке? А может быть, потому, что за месяц до вылета в Грецию сорок дней отработал в международной программе берлинского цирка Буш?

Однако парень в джинсах понял, что Волков обращается к нему, и улыбнулся.

Волков тоже улыбнулся парню, повесил на его толстенную шею сумки компании «Эр-Франс», сунул ему в руки свертки и журналы и показал на удаляющийся электрокар с багажом.

Парень кивнул — дескать, «понял» — и легко побежал за электрокаром. Он догнал его уже метрах в полутора от самолета и на ходу сложил все вещи Волкова.

Волков полез в карман (он уже трижды работал за границей и знал, что подобные услуги обязательно оплачиваются), но ничего, кроме серебряного доллара, там не обнаружил. И тогда Волков вынул доллар, взял здоровую ручищу этого парня и вложил доллар в огромную ладонь. А потом с удовольствием хлопнул парня по спине и, улыбаясь, сказал:

— Спасибо, кореш! — и оглянулся весело: знай, мол, наших!

Парень обалдело разглядывал доллар.

И тут все бросились к Волкову и к этому парню — захохотали, зааплодировали; репортеры прямо на пупе вертелись, фотографируя Волкова и парня со всех сторон.

Волков понятия не имел, что этот паршивый доллар произведет такой эффект. Но он улыбался в объективы и кому-то наспех давал автографы.

Наконец парень понял, что получил на чай.

Он подбросил доллар на ладони, рассмеялся и, с трудом выговаривая русское слово, сказал:

— Спа-си-бо.

И все опять зааплодировали, захохотали, фоторепортеры снова защелкали камерами, но в эту секунду к Волкову пробрался совершенно белый от ужаса руководитель гастрольной группы и, наскоро улыбнувшись парню, забормотал:

— Пардоне муа, месье... Пардоне муа...

Он вытащил Волкова из плотного кольца хохочущих журналистов и отчаянно зашептал:

— Волков!.. Ты сошел с ума!.. Что ты наделал!..

— А что такое?.. Что случилось-то?

— Боже мой! Он еще спрашивает!.. Становись немедленно со всеми вместе...

И руководитель гастролей подтолкнул Волкова к Милке и Кире.

Волков протиснулся между Милкой и Кирой.

— Ну ты дал раскрутку! — восхищенно сказал дрессировщик собак Гена Рябкин.

— Братцы! — взмолился Волков. — Что случилось? Я что-нибудь не так сказал?..

Кира была обеспокоена.

— Какой-то ляп, — задумчиво сказала она. — Но какой?..

— Волков, — шепнула Милка. — Ты случайно не объявил войну Греции? Бывает, просто так с языка сорвется... А?

— Заткнись, умоляю!.. — ответил Волков.

Он попытался отыскать глазами здорового парня, но того уже окружила группа каких-то очень уважаемых людей, и половина из них что-то серьезно говорила парню, а половина продолжала хохотать.

— Товарищи! Товарищи!.. — надсадно закричал руководитель гастролей. — Товарищи артисты! Будьте любезны, встаньте все вместе и немножко подровняйтесь!.. Я должен представить вас господину Христо Аргириди... И пожалуйста, разберитесь по номерам!

Все построились в одну длинную полукруглую шеренгу, а руководитель гастролей, переводчик и один из посольских подошли к группе людей, окружавших парня в джинсах.

Руководитель гастролей что-то сказал, переводчик что-то перевел, и парень в джинсах, развернув саженные плечи, шагнул к ним.

Он широко улыбнулся всей шеренге, на какую-то долю секунды задержал взгляд на Волкове и произнес длинную фразу по-гречески.

— Господин Аргириди, — подхватил переводчик, — приветствует артистов Московского цирка на земле Древней Эллады и считает, что, если здесь, в Греции, русский цирк покажет хотя бы половину того, что видел господин Аргириди, будучи гостем Москвы, Афины будут покорены...

Парень в джинсах добавил что-то еще, и переводчик закончил его фразу:

— ...покорены так же, как были покорены русским цирком Париж, Лондон и Брюссель!

Все заплодировали.

Волков ошарашенно смотрел на парня и понимал, что влип в историю. Чтоб он провалился, этот Саня, со своим долларом!..

А почетный гражданин Афин в потертых джинсах с тусклым фирменным клеймом на заднем кармане, один из богатейших людей Греции, гораздо больше смахивающий не штангиста полутяжелого веса, чем на миллионера, господин Христо Аргириди уже подходил к началу неров-

ной полукруглой шеренги советских артистов цирка.

— Руководитель номера «Джигиты Северной Осетии» Мурад Созиев, — представил руководителя гастролей.

Переводчик повторил то же самое по-гречески, и двое здоровых парней с удовольствием пожали друг другу руки.

Аргириди был одного роста с Мурадом, и Мурад, наверное, не уступал Аргириди в физической силе.

— Эквилибрист Владимир Гречинский... — подошел к Володе руководитель гастролей.

Переводчик открыл было рот, но Аргириди усмехнулся и сказал:

— Но, но... Же лё компран бьен.

Он протянул Гречинскому руку и медленно сказал:

— Здрас-туй-те!

Все засмеялись, и Аргириди, очень довольный собой, двинулся дальше. Руководитель гастролей представлял каждого, Аргириди каждому пожимал руку и каждому говорил: «Здрас-туй-те!»

Однако с самого начала обхода шеренги он несколько раз искоса поглядывал в дальний конец строя, где стоял Волков, и было видно, что Аргириди ждет не дождется, когда подойдет наконец к Волкову. Этого ждали все. Ждал и Волков...

— Это наша последняя поездка, — одними губами сказала Кира.

— Убийство в Сараеве развязало первую мировую войну, — зашептала Милка. — Интересно, чем кончится этот небольшой международный скандалчик? Волков, ты не помнишь, как звали того типа, который ухлопал эрцгерцога?..

— Да провалитесь вы!.. — простонал Волков.

Когда Аргириди подошел к Волкову, Милке и Кире, все стоящие поодаль придвинулись ближе. Аргириди улыбнулся. Волков неопределенно пожал плечами.

— Воздушные гимнасты под руководством Дмитрия Волкова, — напряженным голосом сказал руководитель гастролей и, слегка поклонившись в сторону Аргириди, с упреком добавил: — Господин Христо Аргириди.

Милка не сдержалась и откровенно хихикнула.

Аргириди протянул Волкову руку и стал что-то весело говорить по-гречески. Потом вдруг прервал себя и спросил Волкова по-французски:

— Парле ву франсе, Дмитрос?

— Тре маль... — махнул рукой Волков.

— Э бьен! — кивнул Аргириди и продолжал по-гречески.

Не отпуская руки Волкова, Аргириди посмотрел на переводчика, а вокруг уже нарастал хохот, вызванный, наверное, словами Аргириди.

Переводчик прыснул и сказал:

— Господин Аргириди говорит, что он был очень рад познакомиться с господином Волковым и если господин Волков гарантирует ему

каждый раз доллар за подноску ручного багажа, то господин Аргириди согласен сопровождать господина Волкова во всех его гастролях...

— Что же нам с этим Волковым делать, а, Гервасий Васильевич?

— Лечить.

— Ампутация?

— Он акробат... — сказал Гервасий Васильевич. — Жалко. И потом вряд ли это что-нибудь даст. Уж больно безрадостная общая картина.

— Вы отрицаете первый диагноз?

— А как там? Ну-ка прочтите...

— Пожалуйста. «Разрыв суставной сумки с вывихом левого локтевого сустава и внутрисуставный перелом костей предплечья».

— Ну локоть ему еще там, в цирке, на место поставили... Нет. Я ничего не отрицаю. Я бы дополнил. Шприц был не стерилен, при введении новокаина игла попала в гематому и внесла инфекцию в кровеносный сосуд. Естественно, что инфекция быстро распространилась в организме и привела к генерализации процесса и сепсису...

— А красные продольные полосы?

— А это до отвращения четкая картина лимфангита и лимфаденита...

— Рожа?

— Ну, если хотите, рожа...

— Там внизу сидит парнишка, который работал с этим Волковым в цирке. Он плачет.

— Что вы хотите, чтобы я пошел и вытер ему слезы?

— Он просит, чтобы его пустили к Волкову...

— Исключено.

— Он говорит, что цирк еще вчера закончил работу и завтра все уезжают.

— Скатертью дорога.

— А что с Волковым?

— Записывайте...

— Я запомню...

— Записывайте, черт вас подери! Иммобилизация конечности — раз. Введение больших доз антибиотиков широкого спектра действия — два. Внутривенные вливания антисептических растворов — три. Дробные переливания крови — четыре. И сердечные тонизирующие средства — пять. Если завтра-послезавтра не прорисуетя осложнение...

— Какое?

— Очень вероятен гнойный перикардит... Где он сидит, этот парень? В приемном покое?

— Да.

— Я скоро приду.

— А если прорисуется?

— Тогда придется делать пункции перикарда...

— С антибиотиками?

— Да. Этот парнишка действительно плачет?

— Мы в наших условиях еще никогда не делали пункции перикарда.

— Я покажу. А пока позвоните Сарвару Искандеровичу Хамраеву и передайте, что я очень прошу его заглянуть ко мне в отделение. Я скоро приду...

— Хорошо, Гервасий Васильевич.

После войны Гервасий Васильевич жил в Москве.

Он был подполковником и заведовал хирургическим отделением авиационного госпиталя.

Из окон операционной была видна низенькая пожарная каланча, и один вид ее действовал на Гервасия Васильевича успокаивающе. Последние годы жизни в Москве Гервасию Васильевичу все чаще и чаще приходилось «принимать» каланчу. Характер у него портился, настроение было почти всегда паршивое, и люди, знавшие его издавна, поговаривали, что подполковник буквально на глазах меняется — чем старше, тем нетерпимее, раздражительней... А ведь и хирургом был отличным, и человеком прекрасным. Старееет, что ли?

А с Гервасием Васильевичем происходило то же самое, что и со многими в то время: он просто-напросто был выбит из привычной колеи. Из привычной военной колеи, когда все было зыбким, неустойчивым, только сегодняшним, когда человек не знал и не ведал, наступит ли завтра и доживет ли он до следующего населенного пункта. Именно это постоянное ожидание сиюминутных перемен и было той самой колеей,

в которую война бросила миллионы людей, и оставшиеся в живых еще долгое время считали такое существование наиболее понятным и привычным.

Это случилось со многими, этого не избегал и Гервасий Васильевич.

Там тогда каждая операция была его личной победой. И сотни маленьких побед над чужими смертями создавали ореол бессмертия вокруг самого Гервасия Васильевича. И ему казалось тогда, что он будет жить вечно и будет вечно всем нужен.

Первый послевоенный год он еще находился в каком-то инерционном запале. Может быть, потому, что в госпиталях еще долечивались раненые, а может быть, потому, что время от времени почта приносила ему из разных далеких мест конверты и треугольники, и там лежали одному ему адресованные слова вроде: «...век буду помнить...», «...не побрезгуйте приглашением» или «...бога за вас молить».

Сквозные пулевые ранения, рваные осколочные раны и тяжелые контузии сменялись пневмониями, язвами желудков, фурункулезом и аппендицитами. Словно с человечества спало четырехлетнее нервное напряжение, державшее в узде людской организм, и наружу поперли мирные хвори, которые в войну были редки и удивительны.

И Гервасий Васильевич потерял себя.

В первый год он еще помнил, что вот у этого синего конверта из Горького было тяжелое ране-

ние правого легкого, а у этого треугольника из Красноярской области — осколочное ранение бедра с разрывом бедренной артерии... Потом и это стал забывать.

Письма приходили, напоминали, благодарили, приглашали в гости, но Гервасий Васильевич отвечал на них все реже и реже и уже не давал в письмах десятки советов, как быть здоровым, а ограничивался лишь открытками с короткими словами благодарности.

Иногда на улицах к нему подходили незнакомые люди, обращались по званию, называли себя и свое ранение и были убеждены, что Гервасий Васильевич их, конечно, помнит.

Гервасий Васильевич вежливо улыбался, говорил: «Как же, как же!..» — уже ни о чем не расспрашивал, о себе ничего не рассказывал и, распрощавшись, даже и не пытался восстановить в памяти этого человека.

А еще через год в госпиталь стали приходиться молодые врачи. И Гервасий Васильевич с грустью убеждался, что он им совсем не нужен, вроде бы они что-то такое знают, что недоступно его пониманию. Это его нервировало, раздражало и восстанавливало против всех. Бывали даже моменты, когда Гервасию Васильевичу хотелось рвануть на себе халат, стукнуть кулаком по столу и закричать этим соплякам, что он при свете трех коптилок в деревенской бане из черепа осколки извлекал! Что он без наркоза, под огнем ампутации делал, и культы — любо-дорого посмотреть! Что он по семнадцати раз в сутки оперировал!

Что ему самому осколок фугасной бомбы всю спину распорол, когда он брюшную полость зашивал у раненого!..

Но он молчал и ожесточался. Против себя, против уютной квартирki в Лаврушинском, против жены, сына, против всего на свете.

В сорок седьмом ему было уже сорок семь. Сына забрали в армию и отправили в Алма-Ату — в пограничное училище.

Гервасий Васильевич очень любил сына. Очень. Любил в нем все свои недостатки, свою манеру говорить, смотреть. Любил в нем свою походку... Кто знает, может быть, если бы не сын, Гервасий Васильевич и к жене бы не вернулся. Остался бы он с Екатериной Павловной и был бы, наверное, счастлив с ней всю жизнь. Была у него на фронте Екатерина Павловна — прекрасной души женщина.

Уже потом, когда Гервасий Васильевич вернулся домой, когда поуспокоился, частенько думал о том, что в жизни мужчины хоть ненадолго обязательно должна была быть такая женщина. Это всегда будет возвышать мужчину в собственных глазах, беречь от цинизма...

В пятьдесят первом умерла жена Гервасия Васильевича. Простудилась, поболела совсем недолго и умерла.

Из Средней Азии прилетел сын. Такой худенький, строгий лейтенант. Взрослый, небритый, а в глазах детская мука и растерянность.

Похоронили на Ваганьковском, поплакали.

Сын после похорон четыре дня в Москве прожил, а потом они вместе с Гервасием Васильевичем сели в метро и поехали на Казанский вокзал. Приехали рано, состав еще к посадке не подали.

Гервасий Васильевич в штатском был, и сын держал его под руку. Так Гервасий Васильевич ничего и не узнал про сына. Все какие-то обычные вопросы задавал: как служится в горах, что за подразделение, кто командир... И сын отвечал коротко и скучно и после каждого ответа втягивал в себя воздух, словно хотел сказать что-то еще, но раздумывал и отводил глаза в сторону.

А Гервасию Васильевичу ужасно хотелось прижаться лицом к шинели этого худенького и очень чужого лейтенанта, и попросить у него разрешения уехать вместе с ним, и обещать не мешать ему и не задавать идиотских вопросов. Просто быть рядом и, если потребуется, вылечить этого лейтенанта и сберечь.

И когда до отхода поезда оставалось минут десять, сын посмотрел Гервасию Васильевичу в глаза и с виноватой улыбкой сказал:

— Пап, ты знаешь, мне не хотелось бы писать тебе об этом в письме, но... Я понимаю, нужно было, наверное, раньше...

«Он женился...» — подумал Гервасий Васильевич и вдруг почувствовал, что никуда с этого перрона не уйдет, что поезд сейчас тронется, а он просто ляжет сейчас здесь и умрет от тоски и жалости к самому себе...

— Я женюсь, пап... — сказал сын. — То есть вообще-то я уже женился, но... Мы еще не расписались.

Гервасий Васильевич молчал.

— Она в педагогическом учится, — сказал сын и взял Гервасия Васильевича за руки.

Гервасий Васильевич понял, что для сына это была последняя спасительная фраза.

— Ну так прекрасно же!.. — Гервасий Васильевич даже сумел улыбнуться. — Чего же ты волнуешься?

Сын наклонился к руке Гервасия Васильевича, прижался к ней щекой и раскрепощенно сказал:

— У нас будет ребенок...

Он нахмурил брови, поднял глаза в законченное сферическое вокзальное перекрытие, посчитал, шевеля губами, и добавил:

— Через шесть месяцев.

— Я приеду к тебе, — быстро сказал Гервасий Васильевич. — Я обязательно к вам приеду. Ты мне только пиши! Только пиши!..

...Они погиб все трое. Сын, жена сына и их ребенок. Сель — грязе-каменный поток — вырвался из-под сверкающих ледников и с диким грохотом понесся вниз, унося с собой громадные горные валуны, стирающие с лица земли все на своем пути. Это было весенней ночью, когда на вершинах начали таять снега, и от крохотного военного городка осталась только

трехметровая, уродливо застывшая кора грязи, вспученная огромными, многотонными камнями.

Спаслись только те, кто был этой ночью в наряде.

Гервасий Васильевич демобилизовался, получил пенсию, запоздалое звание полковника, сдал райсовету квартиру в Лаврушинском и уехал в маленький среднеазиатский городок, недалеко от которого погибли его сын, его невестка, которую он никогда не видел, и его внук, которого он никогда не держал на руках...

И жизнь Гервасия Васильевича в этом городе была похожа на сонное, теплое умирание.

Так Гервасий Васильевич жил больше года. Снимал комнату с верандой, готовил себе завтраки, где-то обедал, что-то припасал на ужин, а по вечерам пытался вникнуть в веселую и бессвязную болтовню хозяина дома — старого Кенжетая Абдукаримова.

Раза два его вызывали в военкомат, расспрашивали о житье-бытье, предлагали квартиру, или, как там говорили, «однокомнатную секцию» в новом доме, и однажды даже попросили прочесть лекцию призывникам.

Гервасий Васильевич от всего отказывался, вяло благодарил и возвращался домой, на свою веранду. Там он садился на старое скрипучее кресло, обитое бывшим бархатом, и подолгу смотрел на снежные вершины гор, такие красивые, что и представить нельзя было, что из-под них может принестись отвратительный, грязный,

грохочущий поток и похоронить под собой людей, дома и абрикосовые деревья.

К вечеру на веранде становилось совсем темно, снег на горах синел, и Гервасий Васильевич, с трудом сбросив с себя бездумное оцепенение, шел через чистенький теплый дворик в кухню — кипятить чай.

Там его перехватывал Кенжетай и со страстью долго молчавшего человека начинал говорить, говорить, говорить... Иногда Кенжетай увлекался, отбрасывал неудобный для себя русский язык и продолжал рассказывать что-то уже на своем родном языке, совершенно забыв, что Гервасий Васильевич его не понимает. Кенжетай вскрикивал, хохотал, хлопал себя по ляжкам сухими коричневыми руками и заглядывал в глаза Гервасию Васильевичу.

Потом в кухне появлялась жена Кенжетая, что-то коротко говорила мужу, и Кенжетай, уже по-русски пожелав Гервасию Васильевичу доброй ночи, уходил спать.

А Гервасий Васильевич возвращался в свое кресло и еще долго сидел в темноте и слушал, как по крыше веранды постукивают маленькие падающие яблоки.

Иногда вечерами Гервасий Васильевич уходил из дому. Но и то ненадолго. Пройдетя по темным улицам в вязкой духоте, послушает, как течет вода в арыках, да и забредет за край города, благо край его рядом с центром. Посидит на камнях около узенькой злой речушки с ледяной водой, подышит свежестью и, не уте-

рев с лица брызг, направится потихоньку домой.

После таких прогулок Гервасий Васильевич обычно уже не садился в кресло, а проходил в комнату, раздевался и укладывался в кровать. Выкурив папиросу, он засыпал легким сном, и только один раз ему приснился сын — бледный, обросший щетиной, и Гервасий Васильевич во сне плакал и просил у него за что-то прощения...

Однажды Гервасий Васильевич возвращался с речки домой и увидел сидящего у ворот Кенжетая. Кенжетай молча взял Гервасия Васильевича за руку и усадил рядом с собой.

— У тебя гость, — сказал Кенжетай.

— Кто? — спросил Гервасий Васильевич.

— Хороший человек, — ответил Кенжетай и что-то негромко запел, считая, что ответил исчерпывающе.

Гервасий Васильевич прошел на свою веранду. Навстречу ему из-за стола поднялся широколицый элегантный мужчина с припухлыми веками, лет тридцати.

— Здравствуйте, Гервасий Васильевич. Меня зовут Сарвар. Сарвар Хамраев.

— Добрый вечер, — Гервасий Васильевич пожал руку парня. — Садитесь, пожалуйста. Садитесь, Сарвар.

«Это его сослуживец... — подумал Гервасий Васильевич. — Он один из тех, кто уцелел. Где же он был в то время?»

Как-то к нему уже приходили приятели его сына — молодые смущенные лейтенанты. Они

называли его «товарищ полковник», робели, держались скованно, словно были виноваты в том, что остались живы. Разговор шел томительно, тягостно, и только один раз лейтенанты оживились — когда рассказывали про свадьбу сына. А потом долго и облегченно прощались и просили немедленно сообщить им в подразделение, если Гервасию Васильевичу что-нибудь понадобится...

— Гервасий Васильевич, — рассмеялся Хамраев. — Вы уж простите меня за вторжение, но я просто пришел поздравить вас с днем рождения!

— С каким днем рождения? — удивился Гервасий Васильевич и тут же спохватился: — Ах да, верно. Сегодня же седьмое сентября. А я и забыл вовсе. Ну спасибо, спасибо... А вы-то откуда узнали? Прямо мистика какая-то...

— Сейчас я вам все объясню, — сказал Хамраев. — Никакой мистики. Все предельно просто. Судя по тому, что вы не помните день своего рождения, гостей вы не приглашали. Я единственный гость-самозванец, и, если позволите, я буду и устройтеlem торжеств.

Хамраев вытащил из-под стола туго набитый портфель и стал выгружать из него какие-то свертки.

— Вы же все равно не готовы к приему гостей, — говорил Хамраев. — А чтобы вы не чувствовали себя неловко, я вам потом сообщу день своего рождения, и вы сможете притащить такой же портфель. Вот мы и будем квиты. Подержите,

пожалуйста... Тут есть такая кастрюлечка, а в ней такой потрясающий лагман, который умеет готовить только моя мать! Вы когда-нибудь ели лагман?..

И Гервасий Васильевич озадаченно помогал Хамраеву доставать эту кастрюлечку с лагманом и даже был рад, что в его доме вдруг появился этот незнакомый забавный парень Хамраев.

— Слушайте! — сказал Хамраев. — Нет, подождите... Давайте сделаем так: вы будете сидеть и слушать, а я буду накрывать на стол и рассказывать. Где у вас какая-нибудь посуда? Нет, нет, не вставайте! Сидите. Я уже сам вижу...

Хамраев быстро и ловко выложил все в несколько тарелок и продолжал:

— Сегодня в адрес горздравотдела на ваше имя пришла поздравительная телеграмма. Вот вам и вся мистика. Держите.

Хамраев вынул телеграмму из внутреннего кармана пиджака и протянул ее Гервасию Васильевичу.

— Честно говоря, мы ее распечатали, — сказал Хамраев. — Знаете, телеграммы бывают разные...

— Пустяки, — сказал Гервасий Васильевич.

Телеграмма была из Перми. «Дорогой мой поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья мужества долгих лет Екатерина».

Гервасий Васильевич сидел потрясенный и растерянный. Это была первая весточка от Екатерины Павловны с тысяча деаатьсот сорок пятого года, с того момента, когда Гервасий Василь-

евич закончил войну и вернулся к своей семье. И сознание того, что все эти годы Екатерина Павловна помнила о нем, а судя по телеграмме, неведомо как следила за его существованием и уж, наверное, была в курсе всех событий в жизни Гервасия Васильевича, обрадовало, смутило и опечалило его.

— Почему вы загрузили? — спросил Хамраев. — Неся вам эту телеграмму, я был убежден, что несу вам радость.

Он уже успел снять пиджак, закатать рукава рубашки и повязать живот кухонным полотенцем, словно фартуком.

— Вы принесли мне гораздо больше, — сказал Гервасий Васильевич.

Хамраев смущенно рассмеялся.

— Нет, все-таки Восток — могучая штука! Я только что сказал до пошлости пышную фразу: «Неся вам эту телеграмму» — и так далее. — Черт побери! Ведь, казалось бы, полная ассимиляция! А все-таки нет-нет да и прорвет что-то султанно-минаретное.

Хамраеву было не тридцать лет, как показалось Гервасию Васильевичу, а все тридцать семь. Уже несколько лет он возглавлял городской отдел здравоохранения, был умен, ловок и интеллигентен. О Гервасии Васильевиче он знал все с первой минуты его приезда в город. И каждый раз, когда в ответ на жалобы Хамраева о недостатке квалифицированных хирургов в клинике городской комитет партии предлагал ему пригласить на работу Гервасия Васильевича, Хамраев

неопределенно покачивал головой или так же неопределенно соглашался. Но ни в том, ни в другом случае даже не пытался познакомиться с Гервасием Васильевичем.

— У человека погибла семья, — говорили Хамраеву. — Человек бросил все, приехал, так сказать, на могилу собственного сына, чтобы, как говорится, закончить свой жизненный путь в уединении и скорби. Что в таких случаях должны делать партийные и общественные организации? Они должны вернуть такого человека к общественно полезной деятельности. Тем более что этот человек — врач, первоклассный хирург. Представитель, как говорится, гуманнейшей профессии. А в городской клинике, как докладывает сам товарищ Хамраев, нет хирургов, которым можно было бы доверить сложные операции. Чуть что, больного на самолет — и в столицу республики. Пора с этим делом кончать. Было уже два смертельных исхода, и хватит. Вызовите, товарищ Хамраев, этого человека, поговорите с ним, напомните ему о его долге перед партией, перед народом, в конце концов, если нужно, предложите ему персональный оклад (горком поможет) — и с богом!

Нет, так Хамраев не мог прийти к Гервасию Васильевичу. Его умение действовать наверняка восставало против всех предлагаемых вариантов, а исконно азиатская недоверчивость и осторожность, которую он унаследовал от предков кочевников, заставляли его искать собственное решение или ждать до тех пор пока судьба сама не

пошлет ему повод для знакомства с Гервасием Васильевичем.

Когда принесли телеграмму на имя Гервасия Васильевича, Хамраеву показалось, что долгожданный повод сам пришел к нему в руки. Но за телеграммой должна была начаться тонкая и мудрая игра в заботу, которая в итоге принесла бы свои организационные плоды не столько для Гервасия Васильевича, сколько для Хамраева — заведующего городским отделом здравоохранения. Он уже давно научился себя прощать и не подставлять душу терзаниям совести — не для себя же, для дела, для людей.

...К столу пригласили Кенжетая с женой. Кенжетай пришел один, поставил на стол глубокую тарелку с громадными сливами, сказал что-то вроде «старая женщина должна знать свое место», выпил полстакана коньяку и деликатно удалился.

Гервасий Васильевич и Хамраев ели лагман, говорили почему-то о кинематографе. Хвалили, поругивали, а потом Хамраев подробно рассказал Гервасию Васильевичу содержание картины «У стен Малапаги», которую смотрел, еще будучи студентом, и вспомнил, что после просмотра дня три-четыре ходил больной. Вот такая это была картина...

А Гервасию Васильевичу все время хотелось еще раз прочитать телеграмму от Екатерины Павловны, но он стеснялся Хамраева и пытался воспроизвести в памяти текст этой телеграммы.

Один раз он даже ушел с веранды в комнату, будто бы за хлебом. Там, не зажигая света, около лунного окна он дважды перечитал телеграмму и был рад тому, что запомнил текст с первого раза...

— Вы Соколовского Геннадия Дмитриевича не знали? — спросил Хамраев, когда Гервасий Васильевич вернулся из комнаты.

— Знал, — ответил Гервасий Васильевич. — Он был начальником седьмого эвакогоспиталя. Этот?

— Не знаю. Наверное, этот. Он у нас функциональную анатомию читал... А Кричевскую Полину Яковлевну?

— Прекрасный хирург, — с удовольствием сказал Гервасий Васильевич. — Золотые руки.

— Она нейрохирургию у нас вела. Такая строгая дама.

— Что вы, что вы! — оживился Гервасий Васильевич. — Добрейшей души человек. Я бы даже сказал, излишне сентиментальна.

— Ой-ой-ой!.. — усомнился Хамраев и достал из кармана пиджака плоскую бутылочку с румынским коньяком.

Гервасий Васильевич убрал пустую бутылку под стол и обиженно заявил:

— Слушайте, Сарвар, ну кому лучше знать? Полина Яковлевна была моим ассистентом!

— Я это знаю, Гервасий Васильевич, — тихо сказал Хамраев.

— Какого же черта вы тогда спрашиваете, знаю ли я Полину Кричевскую? — разозлился Гервасий Васильевич.

— Я хотел спросить — «помните ли», а «не знаете ли»...

— Я все помню, — вздохнул Гервасий Васильевич. — Вы где институт-то кончали?

— В Москве, — ответил Хамраев. — Давайте выпьем.

Недели через две Гервасий Васильевич уже знал все о медицинских делах этого городка. О недостатке хирургов, о трудностях с медикаментами — обо всем, на что мог пожаловаться Хамраев любому человеку, от которого не ждет ни помощи, ни участия.

Как-то Хамраев не пришел на ставшую теперь обычной вечернюю прогулку, и Гервасий Васильевич решил сам зайти за ним. Встретила его мать Хамраева, худенькая обаятельная старушка Робия Абдурахмановна, и сказала, что Сарвар в клинике. Его туда срочно вызвали.

От нечего делать Гервасий Васильевич пошел в клинику. Вернее, не в клинику, а просто так, по направлению к городской больнице. Может быть, Хамраев скоро освободится и они еще успеют погулять перед сном.

Хамраева Гервасий Васильевич увидел уже выходящим из калитки больничного сада.

— Что там у вас стряслось? — спросил Гервасий Васильевич.

Хамраев посмотрел на него усталыми глазами и ответил:

— Худо дело, Гервасий Васильевич... Человек помер.

— От чего?

— От безграмотности... От безграмотности врача, делавшего операцию.

— А все-таки? Конкретнее.

— Позавчера удалили больному малоизмененный отросток, а сегодня больной скончался от нераспознанной прободной язвы желудка.

— Чего же они, не видели, что оперируют аппендицит в условиях перитонита?

— Значит, не видели...

— Черт бы их побрал, — выругался Гервасий Васильевич. — Что за средневековье?!

— Вот такие дела, Гервасий Васильевич, — сказал Хамраев.

Они стояли у забора больничного сада, и только желтый свет углового фонаря освещал их в черноте этого азиатского вечера.

— Слушайте, вы, заведующий горздравотделом! — вдруг зло сказал Гервасий Васильевич и еле удержался от того, чтобы не схватить Хамраева за отвороты пиджака. — Вы что думаете, будто я тешу себя мыслью, что вам, молодому, здоровому, интересно проводить время со мной, старым хрычом? Да? Вы думаете, я не понимаю, что вам от меня нужно? Какого... вы плетете вокруг меня кружева? Нужен вам хирург или нет? Я вас спрашиваю: нужен я вам или нет? — повторил Гервасий Васильевич.

— Нет, — жестко ответил Хамраев. — Мне — нет. А вот больным вы еще могли бы понадобиться.

— Чего же вы молчали, черт вас побери?! Я буду работать в вашей вонючей клинике рядо-

вым хирургом, слышите? И никаких месткомов, никаких профкомов, никаких комиссий по снятию остатков больничного пищеблока!.. Слышите?

— Слышу! — улыбнулся Хамраев.

— Какого черта вы улыбаетесь? — завизжал от злости Гервасий Васильевич.

С тех пор утекло много воды, и сейчас, спускаясь в приемный покой, Гервасий Васильевич думал о том, что он скажет этому пареньку из цирка, который плачет и просит, чтобы его пустили к Волкову.

Он об этом думал до самой последней ступеньки и, уже шагая по коридору, понял, что ничего успокоительного придумать не может. Он разозлился на себя и на этого циркового парня, который торчит в приемном покое.

Он сделает вот что: он возьмет и расскажет этому мальчишке всю правду. И как здоровый человек погибает из-за того, что в их дурацком цирке нет постоянного опытного врача...

— Это вы к Волкову? — спросил Гервасий Васильевич у Стасика. Кроме Стасика в приемном покое сидел старик в пыльном выгоревшем халате и черной тюбетейке, порыжевшей от старости. Старик сидел прямо на полу, держа между ног истертую полевую сумку.

— Я, — ответил Стасик.

— Дохтур... — не вставая с пола, с трудом проговорил старик. — Зачем лепешка нельзя

передать? Боурсак — нельзя, курд — нельзя... Из аула спускался... Семнадцать километров шел. Виноград взял, лепешка, говорит, нельзя... Я старый — ты старый... Иди скажи. Пусть лепешка берут...

И старик вынул из сумки две лепешки, завернутые в чистую тряпку. Он протянул их Гервасию Васильевичу и повторил:

— Пойди скажи... Ты старый.

— Простите, — сказал Стасику Гервасий Васильевич и наклонился над стариком: — Как фамилия?

— Ниязов, — охотно ответил старик.

— Ниязова — жена? Алтынай — жена? — спросил Гервасий Васильевич.

Старик, кряхтя, поднялся с пола.

— Жена, жена, — радостно подтвердил он.

— Нельзя ей лепешки, аксакал. Нельзя, — развел руками Гервасий Васильевич. — Вот придет Алтынай домой — сколько угодно можно будет. А сейчас нельзя.

— Э-эх!.. — тряхнул бородой старик. — Не придет. Умирать будет.

— Придет. Недельки через полторы придет, — сказал старику Гервасий Васильевич, но старик уже не слушал его, что-то недобро бормотал себе под нос и, придерживаясь за стенку рукой, направился к выходу.

В дверях он остановился, оглянулся, презрительно посмотрел на Гервасия Васильевича, еще раз тряхнул бородой и выдохнул:

— Э-э-эх!.. Ты старый человек... Ты плохой человек!..

Он зло сплюнул и вышел, осторожно ступая кривыми ногами в коричневых сапогах.

Гервасий Васильевич огорченно посмотрел ему вслед и повернулся к Стасику:

— Цирк действительно уезжает?

— Да, — ответил Стасик и с надеждой взглянул на Гервасия Васильевича.

— Сейчас я второй раз окажусь плохим человеком, — сказал Гервасий Васильевич. — Я не пущу вас к Волкову.

— Как же так, доктор?.. Я же его партнер! Я же...

— Дмитрий Сергеевич в тяжелом состоянии. Ему нужен абсолютный покой.

— Да как же вы можете!..— закричал Стасик. — Да вы знаете, что такое партнер в цирке?!

— Нет, — честно сказал Гервасий Васильевич. — Не знаю. Расскажите мне об этом, пожалуйста.

Гервасий Васильевич сел на клеенчатую кушетку, вынул папиросы и добавил:

— И все про Волкова.

Через двое суток состояние Волкова резко ухудшилось.

То, чего так боялся Гервасий Васильевич, произошло. Начался гнойный перикардит. Сердце Волкова могло захлебнуться в любую минуту. Оно просто могло не выдержать.

Гервасий Васильевич не разрешил везти Волкова в операционную и тут же, в палате, стал делать ему первую пункцию перикарда...

По среднеключичной линии Гервасий Васильевич отсчитал пятое межреберье на груди у Волкова и под темным левым соском йодом поставил золотисто-коричневое, с рыжими краями, пятно. И в эту секунду ему показалось, что все свои шестьдесят с лишним лет он прожил для того, чтобы сейчас спасти этого незнакомого и очень больного Волкова.

Когда же длинная толстая игла прошла сквозь золотистое пятно под левым соском и с первого раза точно вошла в край профессионально гипертрофированного сердца Дмитрия Волкова, Гервасий Васильевич подумал о том, что нет у него сейчас никого ближе вот этого сильного, одинокого парня.

Он попросил сестру-хозяйку поставить в палате Волкова еще одну кровать и в этот вечер не ушел домой, а остался рядом с Волковым.

В первом часу ночи в палату неслышно вошел Хамраев в сопровождении дежурного врача. На белом табурете у кровати Гервасия Васильевича стояла маленькая настольная лампа, укутанная больничной наволочкой с большими черными печатями.

Хамраев приблизился к Гервасию Васильевичу и осторожно тронул его за плечо.

Гервасий Васильевич приподнялся, вынул из кармана халата очки, надел их и, кивнув Хамраеву, посмотрел на часы.

— Вот вы где, — сказал Хамраев. — Я бегаю, ищу вас по всему городу... Мне нужно поговорить с вами.

— Сейчас, — сказал Гервасий Васильевич и сунул ноги в шлепанцы. — Идите, я догоню вас.

Он подошел к Волкову, положил свои пальцы на правую кисть его руки и стал считать пульс. Что-то заставило Гервасия Васильевича наклониться над Волковым и заглянуть ему в лицо.

Глаза Волкова были открыты.

— Ты почему не спишь? — спросил Гервасий Васильевич. Он неожиданно сказал Волкову «ты» и не заметил этого.

Волков промолчал.

— Ты почему не спишь? — мягко повторил Гервасий Васильевич.

— Я умру? — хрипло спросил Волков.

— Нет, — ответил Гервасий Васильевич. — Спи.

— Я умру во сне, — сказал Волков.

— Это произойдет с тобой лет через пятьдесят, — улыбнулся Гервасий Васильевич. — Тебе хватит еще пятидесяти лет, чтобы привести в порядок свои дела?

— Нет, — ответил Волков и прикрыл глаза.

— Не жадничай, — сказал Гервасий Васильевич и вышел из палаты.

Хамраев сидел на подоконнике в конце коридора и держал в руке незажженную сигарету. Когда он увидел Гервасия Васильевича, идущего

к нему, он спрыгнул на пол, взял у противоположной стены стул и поставил его рядом с открытым окном. Затем снова уселся на подоконник и вынул из кармана брюк запечатанную пачку «Казбека».

Подошел Гервасий Васильевич.

— Садитесь, — сказал Хамраев. — Я принес вам «Казбек».

— Спасибо, — ответил Гервасий Васильевич. — Очень вовремя.

— У вас спички есть? — спросил Хамраев.

— Кажется... — Гервасий Васильевич пошарил в карманах, достал спички и дал прикурить Хамраеву. Хамраев затаился, посмотрел в черный проем окна и повернулся к Гервасию Васильевичу:

— Сегодня звонили из Москвы. Из Союзгосцирка. Предлагают нам отправить его самолетом в Москву... Там они положат его в ЦИТО.

— Куда?

— Ну в Центральный институт травматологии и ортопедии. Теплый переулок, шестнадцать... Помните? Рядом с парком Горького...

— А-а-а... помню.

Гервасий Васильевич медленно вскрыл коробку «Казбека», вынул папиросу и, почему-то не воспользовавшись спичками, прикурил от сигареты Хамраева.

— Он нетранспортабелен, — сказал Гервасий Васильевич. — Это раз. А во-вторых, он мой больной, и я хочу, чтобы он стал моим здоровым.

Хамраев стряхнул за окно пепел и спрыгнул с подоконника. Он посмотрел в упор на Гервасия Васильевича и жестко спросил:

— А вы не боитесь, что он станет вашим покойником?

Гервасий Васильевич встал со стула, глянул куда-то сквозь Хамраева и ответил:

— Боюсь!

Вот уже который день Гервасий Васильевич пребывал в каком-то странном, удивительном состоянии.

Жизнь представилась ему ужасно длинной дистанцией, и он думал о том, что человек начинает дистанцию полный сил, оптимизма, надежд и финиш ему представляется не концом его жизни, а победой, за которой обязательно должны следовать признание, почести и глубочайшее удовлетворение самим собой...

А потом, может быть где-то в середине дистанции, он почувствует усталость; ноги вдруг перестанут быть легкими и упругими, и уже не они понесут человека по беговой дорожке, а сам человек слабеющими усилиями воли, самолюбием и остатками бывшего тщеславия заставит ноги бежать дальше. Дыхание станет неровным, прерывистым, и вдыхаемый воздух будет не восстанавливать силы, а еще больше истощать их, так как процесс дыхания станет теперь тяжелой работой. И, несмотря на то что человек еще будет продолжать свое мучительное движение вперед, финишная ленточка будет уходить от него все дальше и дальше: непо-

мерно тяжелые ноги, разрывающиеся легкие, сердце, готовое выскочить из груди, вытеснят из сознания бегуна остатки мыслей о победном финише, и конец дистанции станет казаться ему концом его жизни. И настанет минута, когда нетренированный бегун захочет сойти с дистанции к чертовой матери, сделать еще пару шагов и упасть лицом в землю...

Но и на дистанции и в жизни настоящему человеку, до того как он сойдет с дорожки, должна прийти на помощь память. Именно тогда, когда он уже замедлил бег и простил себя, когда он уже почти остановился, память приблизит к его глазам десятки людей, которые верили в него на старте. Ради которых он вышел на эту дистанцию. Ради которых он не имеет права сходить с нее. Может быть, он плохо подготовлен, может быть, нетренирован, но это его личное дело — они не знали об этом, и он не имеет права лишать их веры. Потому что лишать людей веры не должно быть дано никому. Это величайшее преступление. И пусть его финиш не будет победным — наверное, это удел тренированных, но дистанцию он должен пройти до конца.

Нет... Чувство ответственности, каким бы сильным оно ни было, не придает бегуну новые физические силы. Сердце не станет биться ровнее, не станут легче ноги, бежать будет так же тяжело, может быть, тяжелее вдвое, втрое, но мозг будет рождать новое: желание не упасть лицом в землю, а продолжать движение. Обязательно продолжать движение!..

И тогда в благодарность за мужество в какой-то совершенно неожиданный момент, когда человек уже начинает умирать на бегу, неведомые силы приносят ему награду — второе дыхание.

Вот оно, физическое исцеление! Четко, как метроном, стучит сердце, легок широкий, размашистый бег, и наплевать ему теперь на расстояние до финишной ленточки: сто метров, двести, триста, пятьсот... Теперь за него могут быть спокойны все, кто провожал его на старте. Теперь он готов бежать всю свою жизнь, лишь бы она не кончилась...

Для Гервасия Васильевича вторым дыханием стал Волков. То, что рассказал про Волкова Стасик, и то, что угадал сам Гервасий Васильевич, наполнило его совершенно новым, до сих пор не изведанным чувством. Словно спустя много-много лет он нашел самого себя — одинокого и неприкаянного; терпеливого не от силы характера, а от чудом сохранившейся стыдливости; резкого от неуверенности; не очень удачливого, сберегшего способность винить в неудачах только себя; честного от неумения быть другим...

То, что он был не врач, а артист цирка, то, что его звали Дмитрий Сергеевич и разница в возрасте была у них тридцать лет, не имело никакого значения.

Вот тогда-то и показалось Гервасию Васильевичу, что всю свою жизнь он прожил для того, чтобы не дать умереть Волкову.

Еще три раза делал Гервасий Васильевич ему пункцию перикарда. Три раза, через каждые два дня, руки Гервасия Васильевича вводили длинную иглу в сердце Волкова и заливали его антибиотиками. Днем и ночью каждый час дежурные сестры входили в палату Волкова, держа в одной руке марлевый тампончик, пропитанный спиртом, а в другой — шприц с торжественно задранной вверх иглой.

Пять дней подряд Гервасий Васильевич делал Волкову переливание крови.

На седьмые сутки температура у Волкова стала падать. Ртутная ниточка укоротилась до тридцати восьми с половиной градусов, и Волков впервые улыбнулся Гервасию Васильевичу.

Гервасий Васильевич закашлялся, выморкался в марлевую салфетку и вышел из палаты.

Как и каждый вечер, в коридоре на подоконнике сидел Хамраев. Гервасий Васильевич остановился в нерешительности, судорожно вздохнул и направился к нему.

— Что с вами? — испуганно спросил Хамраев.

— Ни-ничего...

— А с ним? — Хамраев соскочил с подоконника и сильно взял Гервасия Васильевича за руку.

— И с ним. Просто немножко упала температура. Я этого так ждал.

Хамраев выпустил руку Гервасия Васильевича и снова взгромоздился на подоконник.

— Да ну вас, Гервасий Васильевич! Поглядеть на вас, так можно было черт знает что подумать. У вас такой вид...

— Какой?

Хамраев не ответил.

Гервасий Васильевич стянул Хамраева с подоконника, обнял его и повел в дальний конец коридора, к выходу.

— Не сердитесь, Сарвар, дружочек вы мой.

— Я наконец понял, кто вы, — сказал Хамраев.

— Только сейчас?

— Нет. Еще вчера. Вы эгоист! Это о вас писал Жюль Ренар: «Истинный эгоист согласен даже, чтобы другие были счастливы, если только он принесет им счастье...»

Гервасий Васильевич остановился и удивленно посмотрел на Хамраева.

— Я знал, что существует целая категория людей, которая занимается тем, что выписывает в аккуратные тетрадки мудрые мысли великих и афоризмы сомнительного качества... Вам-то это зачем? Вы и так бронированы эрудицией. Вы вообще прекрасный тип современного советского администратора. Вы умны, интеллигентны, решительны... У вас самого полно мудрых мыслей. На кой ляд вам Жюль Ренар? Попробуйте обидеть меня своими словами...

— Не пытайтесь меня разозлить, — спокойно сказал Хамраев. — Вам привет от мамы. И вот вам ваш «Казбек».

Гервасий Васильевич спрятал коробку папирос в карман халата и спросил:

— Вы не можете мне объяснить, почему вы приносите мне папиросы только вечером? Я за ночь их выкуриваю, а днем мучаюсь от беспapiросья...

— Потому что я все еще заведу городским отделом здравоохранения и с девяти утра сижу на работе. Ясно?

— Ясно, ясно... — кротко согласился Гервасий Васильевич.

— У него локализуется гнойный очаг?

— Кажется, да.

— А потом?

— Потом будем оперировать.

— Ампутация?

— Не знаю... Посмотрим.

— До завтра, Гервасий Васильевич.

— Маму поцелуйте, Сарварчик. Передайте, что я ей кланяюсь...

Следующий день у Гервасия Васильевича был операционным.

Волков лежал в палате один и дремал. Ночью они с Гервасием Васильевичем долго не спали. Болтали о том о сем.

Гервасий Васильевич рассказывал Волкову о своем отце — удивительно талантливом гинекологе, у которого в Петербурге была прекрасная практика и своя собственная клиника. За

успехи в медицине отцу Гервасия Васильевича было пожаловано звание потомственного дворянина. Это звание открыло ему двери знаменитого Владимирского клуба, где спустя три года он проиграл свой дом на Разъезжей, клинику, потерял практику, а вскоре и вовсе «сошел с круга»...

Рассказ этот за давностью лет утратил горечь, и Гервасий Васильевич говорил об отце без осуждения, вспоминал о нем с уважением и печалью.

Часам к трем ночи Гервасий Васильевич сам ввел Волкову пантопон и пожелал спокойного сна.

Весь день был в каком-то странном дремотном забытьи. Он пробуждался каждый час, когда в палату входила дежурная сестра со шприцем. Да и то ненадолго. Минуты на две, на три. А потом сознание снова уплывало от него, и он уже не слышал ни звуков в коридоре, ни шагов старухи нянечки, позвякивавшей ведром с десятком чистых «уток».

Только один раз, когда старшая сестра хирургического отделения принесла ему не то завтрак, не то обед (Волков этого так и не понял) и стала уговаривать его поесть, он очнулся минут на двадцать.

Есть он не стал, но был благодарен старшей сестре за то, что она его разбудила. Именно в этот момент ему снилось что-то тревожное, мерзкое, а проснуться и открыть глаза не было никаких сил.

Старшая сестра была красивая, яркая женщина лет сорока, с огромным бюстом и могучими ногами. Ее движения сопровождалось тихим потрескиванием и шуршанием туго накрахмаленного халата. После каждой фразы она с достоинством закрывала глаза и открывала их только для того, чтобы произнести следующую.

— Надо есть, Дмитрий Сергеевич, — веско говорила старшая сестра. — Это необходимо для активной сопротивляемости в общей жизнедеятельности организма. А то мне придется пожаловаться на вас Гервасию Васильевичу.

Волков смотрел на старшую сестру и думал, что где-то за стенами больницы в каком-нибудь новом пятиэтажном доме есть небольшая однокомнатная квартирка с потемневшей от старости гитарой, с многочисленными фотографиями застывших людей, с высокой кроватью, с шелковым ярким покрывалом и огромным зеркальным шкафом. И живет в этой квартире старшая сестра — одинокая чистюля, наверное, бывший санинструктор роты. Дома, снимая шуршащий халат, она начинает говорить нормальным бабским языком, без всякой там «активной сопротивляемости» и «общей жизнедеятельности». Стряпает, стирает, пишет письма дальним родственникам, а поздно вечером принимает у себя многодетную соседку по лестничной площадке. Они выпивают бутылку портвейна, старшая сестра снимает со стены гитару и поет всхлипывающей соседке «про улыбку твою и глаза»... А соседка ругает детей, проклиняет мужа и гово-

рит о том, насколько старшей сестре жить легче. И старшая сестра привычно соглашается с ней, а оставшись одна, долго разглядывает в зеркале свое стареющее красивое лицо и плачет от одиночества и жалости к себе...

— Вы никогда не были санинструктором роты? — неожиданно спросил Волков.

— Нет, — ответила старшая сестра и покраснела. Я была санинструктором батальона...

Часам к пяти пришел Гервасий Васильевич. Он осторожно присел на кровать Волкова, помолчал немного, потер пальцами глаза под очками и спросил:

— Ну что, брат Дима?.. Скучаешь?

— Я почти весь день дремал, — ответил Волков.

— Очень хорошо, — сказал Гервасий Васильевич. — Просто прекрасно. Давай я тебя посмотрю немного...

— Посмотрите.

— Только сразу договоримся: никаких героических актов. Там, где больно, говори «больно». Мне это очень важно. Понял?

— М-гу.

И пальцы Гервасия Васильевича осторожно стали скользить по левому плечу Волкова. Где-то задержались, мягко ощупывали какое-то место и продолжали скользить дальше, к локтю. Потом снова возвращались назад и еще медленнее проходили путь, уже однажды пройденный.

— Больно?

— Да.

— Очень?

— Очень.

— А здесь?

— Нет.

— Совсем не больно?

— Совсем.

— М-да...

— Что, плохо? — спросил Волков.

— Да нет... Ничего особенного. — Гервасий Васильевич вынул пачку «Казбека» и стал разминать папиросу, глядя в упор на Волкова.

— А мне можно курить? — спросил Волков.

Гервасий Васильевич подумал и с деланным равнодушием сказал:

— Кури.

Он размял папиросу и сунул ее в рот Волкову. Затем оглянулся на дверь и чиркнул спичку.

Волков прикурил и улыбнулся.

— Ты мне поулыбайся, — сказал Гервасий Васильевич. — Придет старшая сестра — не до улыбок будет... И мне и тебе влетит...

Он разогнал дым рукой и еще раз оглянулся на дверь.

— Не влетит — она в вас влюблена, — сказал Волков и закашлялся.

— Это у тебя от температуры, — презрительно сказал Гервасий Васильевич. — Так и называется: температурный бред.

— Влюблена... Чтоб мне сдохнуть! — рассмеялся Волков.

— Ни в коем случае! — испугался Гервасий Васильевич. — Ты мне все показатели по отделению испортишь!

— А у вас разве смертельные исходы не планируются? — спросил Волков.

— Прекрати сейчас же, — рассердился Гервасий Васильевич. — А то заберу папиросы и уйду...

— Нет, правда, — зло сказал Волков. — Вроде как усушка, утруска. В винно-водочных отделах даже специально несколько бутылок лишних полагается — «на бой посуды»!

— Ты пьешь?

— Пью.

— Много? — Гервасий Васильевич с интересом посмотрел на Волкова.

— Нормально... Как все. Гервасий Васильевич, я знаю, о чем вы думаете!

— О чем? — весело спросил Гервасий Васильевич.

— Сейчас. — Волков слегка отдышался, проглотил слюну и, не отрывая глаз от лица Гервасия Васильевича, сказал: — Вы, когда вошли в палату, все думали: «Как бы это сказать Волкову про ампутацию?..» Дескать, не дрейфь, брат Дима, и без руки люди на свете живут и, дескать, пользу приносят... Ну там два-три примера из классико-революционной литературы или еще что-нибудь. А, Гервасий Васильевич?

Гервасий Васильевич снял очки и стал разглядывать их на свет.

— Точно, да, Гервасий Васильевич? — испугался Волков.

— Ты только без нервов, — жестко сказал Гервасий Васильевич.

Он протер очки полой халата и надел их на нос.

— Что-то я, конечно, думал... — неуверенно проговорил он. — Человеку это свойственно... Вот и я думал. Я все, сынок, думаю, как ее, подлой, избежать. Вот о чем я думаю. А ты психуешь. Ухудшаешь и без того паршивое свое состояние. И этим очень мешаешь мне тебя лечить. А ты мне помогать должен. Понял?

В палату вошла сестра с профессионально-скорбным лицом. В одной руке она держала шприц с иглой вверх, а в другой — ватку, пахнущую спиртом.

Гервасий Васильевич разогнал дым рукой:
— Подставляй зад, Волков!

Когда сестра ушла, Волков подождал, пока затихнут ее шаги в коридоре, и сказал:

— В сорок четвертом в госпитале со мной рядом лежал Мишка Сиротин. Он перед самой выпиской простудился. И ему банки на ночь назначили... Вечерком к нам в палату вкатывается вот такая же сестричка и трагичным-трагичным голосом объявляет: «Сиротин, я вам банки пришла ставить». И рожа у нее такая постная, такая скорбная, такая профессионально-медицинская, что сдохнуть можно... Сиротин заохал, на живот перевернулся и говорит: «Ты бы мне лучше спиртышки приволокла...» А

она, не теряя заданного настроения, молча так облепила его банками и села рядом. Посидела так с минутку, увидела «Крокодил» на тумбочке и стала его перелистывать. С ней произошла удивительнейшая метаморфоза! Она перестала играть в сестру милосердия... Сидит, понимаете ли, нормальная, здоровая, смешливая девчонка, читает «Крокодил», весело хихикает, и нет ей никакого дела до того, что Сиротин с того света недавно вернулся, что вокруг боль, страдания, температура, бред. И никакого в ней милосердия. Просто тихий голос и скорбь в ее обязанности входят. Потом посмотрела на часы, вздохнула и стала снимать с Сиротина банки. Им что, специально преподают это актерское мастерство? А, Гервасий Васильевич?

Гервасий Васильевич тоскливо посмотрел на Волкова, открыл пачку «Казбека» и спросил:

— Курить будешь?

— Нет, — ответил Волков, не сводя глаз с Гервасия Васильевича.

Гервасий Васильевич закурил сам и скучным голосом спросил Волкова:

— Слушай, сынок, ты знаешь, что такое «право сеньора»?

— Знаю. Это когда первая брачная ночь...

— Ни черта ты не знаешь, — перебил Гервасий Васильевич. — «Право сеньора» — это в первую очередь безнаказанность. Сознание собственной исключительности... Гарантия безопасности. Это не только первая брачная ночь с женщиной, предназначенной другому, это и не-

наказуемое хамство с подчиненными, лживость чиновников и истеричность тяжелобольных... Все это в одинаковой степени гнусно.

— Спасибо, — упавшим голосом сказал Волков.

— Кушай на здоровье, — так же скучно ответил Гервасий Васильевич. — Кушай и постарайся никогда не пользоваться этим правом. Кем бы ты ни был: тяжелобольным подчиненным или очень здоровым начальником...

— Подозрительность, наверное, приходит с возрастом... Да, Гервасий Васильевич? — попробовал Волков перевести разговор в ироничное состязание.

Но Гервасий Васильевич не принял предложенной ему схемы и сказал:

— Я не знаю, что приходит с возрастом. Для этого я еще недостаточно приподнялся над собой и своим возрастом... Зато я почти точно знаю, что с возрастом уходит.

Волков закрыл глаза, повернул голову набок и прижался щекой к подушке. Гервасий Васильевич взял Волкова за правую кисть и прислушался к его пульсу.

— Простите меня, Гервасий Васильевич, — сказал Волков, не открывая глаз.

— Ладно, давай о другом, — сказал Гервасий Васильевич.

Ночью Волков попытался представить себя без руки. Он перебирал десятки дел, для выполнения которых отсутствие левой руки не станет большим препятствием. Но это были дела и про-

фессии, до сих пор неведомые Волкову. Все нужно будет начинать с азов, с самой низшей ступени. А для этого может просто не хватить сил. Тем более что стоило ему мысленно проследить цепь элементарно механических движений для того или другого случая, как он печально убеждался в том, что природа, создавая человека, не позволила себе ничего лишнего...

Волков вспомнил Володю Гречинского. Володю Гречинского, великолепного циркового эквилибриста. Артиста экстра-класса. В войну Володя был «сорокапятчиком». Там некогда было устанавливать прицел своей тоненькой противотанковой пушки. Он бил по танкам прямой наводкой. В бою ему оторвало левую руку. Это был его последний бой.

Спустя тринадцать лет, в Варшаве, Володя Гречинский стал лауреатом всемирного конкурса артистов цирка. Никто из зрителей и жюри не знал, что у него нет руки. Он сконструировал себе движущийся протез, и никому не могло прийти в голову, что у этого русского вместо левой руки культия восемь сантиметров длиной. Он только цветы не мог принять от председателя жюри. Правая рука была занята дипломом и коробочкой с медалью. А цветы принять было уже нечем.

Говорят, потом этот председатель жюри плакал...

Теперь Володя — заслуженный артист республики. Теперь-то все хорошо. Вот только по ночам у него правая рука отнимается — устала. Но об этом тоже почти никто не знает. А Волков

знает. Гречинский многое рассказывал Волкову. Может быть, только ему и рассказывал. Их всегда тянуло друг к другу.

Как только они попадали в один цирк, в одну программу, они вместе размещались в одной гардеробной, и вскоре гардеробная начинала походить на маленькую слесарную мастерскую, куда совершенно случайно попали спиннинги, блеклые костюмы, грим, обрывки афиш и рекламные пепельницы фирмы «Кока-кола».

Гречинский сам конструировал цирковую аппаратуру, и Волков любил вечерами, после представления, сидеть и смотреть, как, привалившись худеньким левым плечом с нежной культей к тискам, Володя держал в красивой и мощной правой руке напильник, с поразительным упорством вытачивая какую-нибудь замысловатую деталь или невиданную блесну. Иногда Володя садился за лист миллиметровки, брал карандаш и набрасывал эскизы аппарата, чертежи узлов. Потом откладывал карандаш и начинал шелкать логарифмической линейкой. Он рассчитывал запасы прочности, максимальные натяжения, минимальные отклонения, динамические рывки, прогибы и скручивания — все, без чего нельзя построить даже самый простой цирковой аппарат. К нему бегали за каждой мелочью: поговорить о новом трюке, зачалить трос, починить транзистор. Просто поболтать.

Но бывали вечера, когда никто не приходил в их гардеробную, когда Володе не хотелось ничего сверлить или вытачивать. И тогда Волков

отправлялся в цирковой буфет, приносил бутылку вина, стаканы, и они засиживались в цирке далеко за полночь.

Волков обычно устраивался на реквизитном ящике, а Володя на стуле. Он снимал со стены трубу, облизывал медный мундштук и, скосив глаза на Волкова, играл ему арии из оперетты «Роз-Мари». Негромкий чистый звук трубы плыл по уснувшему цирку, и Волков каждый раз пытался представить, как ведут себя звери, слушая Володину трубу. Наверное, лошади нервно переступают тонкими передними ногами, а дремлющие тигры осторожно открывают глаза...

О фронте Гречинский никогда не говорил. Даже когда в цирке среди «старичков» вдруг заходил разговор о войне и кто-нибудь вспоминал, что в сорок четвертом он был там-то, на таком-то направлении, в такой-то армии, Володя молчал.

Только однажды Волков услышал от Володи о том, что он воевал под Ржевом. Это было так: Волков случайно встретил Гречинского в Москве. Володя был в отпуске, Волков проездом. Они обрадовались друг другу, закатились в «Националь», поужинали, и Гречинский уговорил Волкова поехать к нему ночевать. Когда они вышли из ресторана, было уже половина второго. Они добрались пешком до Пушкинской площади и целый час простояли в очереди на такси. В последний момент, когда Гречинский и Волков уже садились в машину, к началу очереди подошел какой-то пьяный на протезе. Он вломился на пе-

реднее сиденье и потребовал, чтобы его везли к «Соколу». Гречинский жил у «Сокола», и поэтому с пьяным никто не стал спорить.

Машина тронулась. Пьяный сразу же повернулся к Волкову и Гречинскому и стал осыпать их отборной руганью. Он кричал, что потерял ногу вот за таких стилияг и пижонов, что он, если захочет, выбросит их из такси и ему за это ничего не будет, потому что он кровь проливал в то время, когда они где-то отсиживались. Он кричал, что на все имеет право — он воевал вот этими руками. Москву спасал...

— Заткнись, — сказал ему Волков.

И тогда пьяный стал уже совсем отвратительно грязно ругать Волкова и Гречинского. Молоденький шофер такси пугливо посматривал на инвалида.

— Остановите машину, — не выдержал Волков.

— Дима, выкини его к чертовой матери, — спокойно сказал Гречинский.

Шофер притормозил.

— Вы что, с ума сошли?! — закричал пьяный. — Я же на протезе! Куда я пойду? Не трогайте меня!..

Волкова трясло от омерзения и злости. Он вышел из машины и рывком открыл переднюю дверцу.

— Вылезай, — хрипло сказал Волков.

— Да что вы, ребята!.. Ну нажрался я... Нажрался! Что, думаешь, с радости? — И пьяный заплакал.

Волков захлопнул дверцу, сел рядом с Гречинским и сказал пьяному:

— Еще одно слово — и вылетишь. Понял?

Пьяный промолчал.

— Поехали, — сказал Волков.

Как только машина тронулась, пьяный нагло расхохотался.

— Что, съели?! Кто меня тронет, тот два часа не проживет!.. Я ногу потерял, я за Россию кровь пролил, а ты, ты что видел?! — И он повернулся к Гречинскому.

Володя рванулся к пьяному, сгреб его за воротник и бешено крикнул ему в лицо:

— Заткнись, сволочь! Ты один всю Россию спас?! Кроме тебя, никого там не было?! Двадцати миллионов мертвых не было? Гад!!!

Гречинский выпустил пьяного, откинулся на сиденье и пробормотал:

— Ах сука какая!.. Ах сука...

— Попался бы ты мне подо Ржевом, — плаксиво сказал пьяный.

— Подо Ржевом я бы с тобой вообще не разговаривал, — сказал Гречинский. — Да и ты бы там помалкивал...

Уже потом, дома, под утро, Володя посмотрел на Волкова красными от бессонницы глазами и сказал:

— Димка, а я ведь руку-то потерял подо Ржевом...

В этот день после вечернего обхода Гервасий Васильевич ненадолго сходил домой. Он вернулся, держа в руках большую тарелку с виноградом, а под мышкой старый потрепанный томик.

Он поставил перед Волковым виноград и сказал:

— Тебе Кенжетай кланяется. Помнишь, я тебе про него рассказывал? Он говорит, что видел тебя в цирке и ему очень понравилось, как ты танцевал на канате...

— Это был не я, — улыбнулся Волков. — Это Артемьев...

— Я знаю, — сказал Гервасий Васильевич. — Мне просто не хотелось его огорчать. Мне кажется, что он запомнил только танцы на канате, а так как я ему про тебя поведал, то он хочет, чтобы это был обязательно ты... Ничего не имеешь против?

— Пожалуйста, — ответил Волков.

Он попытался осторожно повернуться на бок и вдруг почувствовал, как в больной руке что-то булькнуло. словно в пустой наполовину бутылке плеснулась жидкость. Он легонько шевельнул левой рукой и вместе с острой болью опять услышал бульканье.

— Лопай виноград, — сказал Гервасий Васильевич. — Это глюкоза, а в твоём состоянии она сурово необходима.

— Мне уже сегодня делали её внутривенно...

— Очень хорошо. От глюкозы ещё никто не умер.

Волков опять шевельнул рукой, прислушался к бульканью под локтем и спросил:

— Я не открою новую страницу медицины, если все-таки умру от глюкозы?

Гервасий Васильевич поморщился. Он стоял у окна и перелистывал томик.

— Не болтай, ради бога. Лучше послушай, брат Дима, грандиозные строки:

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели,
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели.

Гервасий Васильевич глубоко вздохнул, снял очки и положил книгу на подоконник.

— Вот как, Дима... «Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели...» Черт знает какая силища!

Волков облизнул пересохшие губы и продолжил:

Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блеклыми,
Ее, жандарма с нею рядом...

Гервасий Васильевич посмотрел на Волкова, взял книгу и снова стал листать страницы, приговаривая:

— «Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели...» Женись, Дима... Обязательно женись. И заведи кучу детей...

— Поздно мне, — сказал Волков.

— Ерунда, — отмахнулся Гервасий Васильевич. — Нарожает детей, привезешь их сюда, я тебе их тут пасти буду.

— Поздно мне, — повторил Волков.

— Глупости! — возмутился Гервасий Васильевич. — Жить никогда не поздно. Знать, что ты кому-то необходим, никогда не поздно... Одиночество — это эгоизм. Чистейшей воды эгоизм... Ты, Волков, эгоист...

— А вы?

— И я. Я тоже эгоист. Мне даже об этом на днях сказали. Некто мой друг Хамраев. Правда, он воспользовался дневниками Жюль Ренара, но от этого я не почувствовал себя лучше...

— Кто такой Жюль Ренар?

— Удивительного мужества человек. Современник Ростана, Гонкуров, Золя... Писатель. Ты не читал «Рыжика»?

— Нет, — Волков снова шевельнул левой рукой и снова услышал, как в локте плеснулась жидкость.

Гервасий Васильевич увидел движение Волкова и спросил:

— Ты зачем шевелишь левой рукой? Не нужно этого делать...

— Гервасий Васильевич, — сказал Волков. — Вы знаете, у меня в руке что-то булькает.

— Ну да?

— Точно. Что-то булькает и переливается. Такое впечатление, будто у меня к локтю грелка привязана.

Гервасий Васильевич отложил книгу и по-дошел к Волкову.

— Давай посмотрим, что там у тебя булькает и переливается. — Он долго и осторожно осматривал левую руку Волкова и наконец сказал: — Вот что, брат Дима, давай-ка мы с тобой завтра прооперируемся... Возьмем и прооперируемся.

Волкова охватила страшная слабость. В первую секунду он даже не мог понять, что с ним произошло. А потом вздохнул судорожно, проглотил комок и понял: испугался.

— Уже завтра?.. — тихо спросил он.

Ему хотелось закричать, что он не может завтра оперироваться, что он еще не придумал для себя однорукого — ничего, он ищет, ищет мучительно, ежедневно и еженощно, но ему не двадцать, ему уже тридцать шесть, и в таком возрасте начинать жить заново очень трудно... Ну неужели нельзя подождать с операцией? Он придумает... Вот только придумает, как жить с одной рукой, так, пожалуйста, оперируйте, отнимайте руку, если без этого нельзя обойтись!

К тому, что он останется без руки, он уже приучил себя. Ему бы теперь только придумать, как жить дальше...

Но Волков ничего не сказал Гервасию Васильевичу, а только тихо спросил:

— Уже завтра?..

— Ты чего это вдруг разволновался? Ты небось по думал, что я тебе завтра руку отрежу? Да? А я и не собираюсь этого делать. Я тебе завтра

этот гнойный мешок вскрою, дрянь всю выпущу, чтобы она у тебя там не булькала и не переливалась, и буду продолжать тебя лечить. Тебя и твою руку... А ты уже черт знает что подумал!

Волков затаил дыхание, уставился в потолок. Из уголка его правого глаза выкатилась маленькая светлая слезинка и неровной дорожкой поползла к уху. Волков повернул голову направо, потерся щекой о подушку и уже случайно шевельнул левой рукой.

— Вот, пожалуйста... — виновато проговорил он. — Опять булькает...

Утром, когда Волков еще спал, Гервасий Васильевич пригласил в ординаторскую двух врачей своего отделения и весь последний курс городской школы медсестер. Одиннадцать семнадцатилетних девочек проходили хирургическую практику в больнице у Гервасия Васильевича и, непонятно почему, боялись его до дрожи в коленях.

Гервасий Васильевич подождал, пока все рассядутся, отдал свой стул маленькой испуганной Рашидовой, а сам присел на краешек стола.

— Вас, Нина Ивановна, и вас, Сафар Алиевич, я пригласил для того, чтобы просить ассистировать мне сегодня при вскрытии флегмоны у Волкова, — обратился Гервасий Васильевич к врачам.

— У него еще и флегмона?

— Ну и букет!

— Букет роскошный, — сказал Гервасий Васильевич. — Что и говорить...

Он обвел взглядом студенток и продолжил:

— А вас я обязываю присутствовать при операции. Это вам будет крайне полезно... В свое время, если вы помните, мы много говорили об анатомо-физиологических особенностях гнойных процессов. Еще несколько дней назад я просил вас самым внимательнейшим образом ознакомиться с историей болезни больного Волкова Дмитрия Сергеевича... Все ознакомились?

Девочки задвигались и зашелестели:

— Я ознакомилась.

— Я тоже.

— И я...

— Прекрасно, — прервал их Гервасий Васильевич. — Тогда я позволю себе повторить кое-что из того, что мы проходили с вами еще зимой. Я не собираюсь задавать вам какие-либо вопросы и проверять ваши знания. Я еще раз повторю вам, что уже говорил однажды. Но в данном случае я ограничусь только одним заболеванием — флегмоной... Исмаилова! Колпакова!.. Перестаньте шептаться... Тяжелое состояние больного Волкова вызвано в первую очередь неумелыми действиями медицинской сестры, ее растерянностью и торопливостью. И если вы действительно изучили историю болезни Волкова, то должны были бы об этом помнить... Именно поэтому я сегодня и собрал вас. Извольте слушать...

Гервасий Васильевич посмотрел на часы, достал папиросы и, закуривая, сказал:

— Сафар Алиевич, будьте любезны, распорядитесь, чтобы все приготовили к операции. Больного не будить, а если он проснется сам — завтрак не подавать.

Врач вышел из ординаторской. Гервасий Васильевич прислушался к его удаляющимся шагам, потер пальцами глаза под очками и сказал:

— Итак, флегмоной называется острое разлитое гнойное воспаление подкожной, межмышечной, забрюшинной и другой клетчатки... В настоящем случае мы с вами имеем межмышечную, или так называемую субфасциальную, флегмону. Возбудителями флегмоны обычно являются стафилококки и стрептококки, но она может быть вызвана и другими микробами, которые проникают в клетчатку через случайные повреждения кожи, слизистых оболочек или гематогенным путем. Флегмона является самостоятельным заболеванием, но может быть осложнением и других гнойных процессов: карбункула, абсцесса, сепсиса... У больного Волкова флегмона рождена сепсисом...

Гервасий Васильевич вдруг почувствовал в своем голосе жесткие нотки и на мгновение ощутил неприязнь к этим одиннадцати девочкам. На секунду все они слились в одну, ту из цирка, которая не прокипятила шприц и не вызвала «скорую помощь».

— Воспалительный экссудат распространяется по клетчатке, переходя из одного фасциального футляра в другой через отверстия для

сосудисто-нервных пучков. Раздвигая ткани, сдавливая и разрушая сосуды, гной приводит к некрозу тканей...

Гервасий Васильевич вспомнил рассказ Стасика и попытался представить себе все, что произошло в цирке. Он почти увидел Третьякова, вправляющего Волкову сустав, и медсестру — вернее, ее руки, почему-то грязные, заскорузлые, толстые фаланги пальцев и плоские ногти с трещинами... И хотя он понимал, что это все не так, ему хотелось закричать от отчаяния и злости.

Но он только передохнул, поискал глазами пепельницу, нашел ее за собой, пододвинул ближе и стряхнул пепел.

— Какова же клиническая картина флегмоны? — спросил Гервасий Васильевич и глубоко затаился.

Образовавшаяся пауза показалась студенткам ожиданием ответа, и маленькая Рашидова робко подняла руку.

— Опустить руку, — сказал Гервасий Васильевич. — Клиника флегмоны характеризуется быстрым проявлением и распространением болезненной припухлости, разлитым покраснением кожи, высокой и стойкой температурой — сорок и выше, сильными болями и нарушением функции пораженной части тела...

«Боже мой! — подумал Гервасий Васильевич. — Всего этого могло не быть! Всего этого могло не быть!»

— Припухлость представляет собой инфильтрат... Затем, как у больного Волкова, он

размягчается и появляется симптом флюктуации. Клиническое течение флегмоны редко бывает благоприятным. Чаще встречается злокачественная форма, когда процесс быстро прогрессирует и сопровождается тяжелой интоксикацией... У нашего больного все это еще осложнено внутрисуставным переломом костей предплечья...

Гервасий Васильевич увидел, что Колпакова разглядывает свое отражение в оконном стекле, и подумал: «Они должны стать наконец взрослыми... Откуда в них такой стойкий инфантилизм?! Такое упорное, отвратительное школярство!.. Неужели необходим какой-нибудь катастрофический сдвиг, какая-нибудь трагическая непоправимость, которая делает детей взрослыми, а взрослых — бойцами?..»

Колпакова будто услышала Гервасия Васильевича и с преувеличенным вниманием уставилась на него своими красивыми глуповатыми глазами.

— Консервативное лечение возможно только в начальной стадии флегмоны... При прогрессирующей флегмоне отсрочка оперативного вмешательства недопустима. Под общим обезболиванием производят вскрытие флегмоны одним, а чаще несколькими параллельными разрезами с рассечением кожи и подкожной клетчатки...

«Я сделаю ему только один разрез... — подумал Гервасий Васильевич. — Только один. Если все будет в порядке, то несколько рубцов при

заживлении могут стянуть ему предплечье, и он не скоро начнет работать в этом своем дурацком цирке...»

— В ранних фазах стрептококковых флегмон гноя может и не быть. В этих случаях при вскрытии отмечается серозное или серозно-геморрагическое пропитывание тканей. У больного Волкова предплечье представляет собой просто огромный гнойный мешок...

«Булькает и переливается...» — вспомнил Гервасий Васильевич виноватый голос Волкова.

— При вскрытии рану рыхло тампонируют марлей с пятипроцентным гипертоническим раствором и мазью Вишневского. В случае с больным Волковым тампонирования будет недостаточно. Ему придется вводить глубокие дренажи...

«Господи! Хоть бы это ему помогло!.. Если бы этим все кончилось...» — промелькнуло в голове Гервасия Васильевича.

— При тяжелой прогрессирующей форме флегмоны, при безуспешности оперативного и общего лечения в связи с угрозой жизни больных необходима ампутация конечности...

Гервасий Васильевич посмотрел на часы и встал со стола.

Девочки зашевелились. Колпакова подняла руку.

— Что вам, Колпакова? — строго спросил Гервасий Васильевич. Ему показалось, что та, из цирка, должна быть похожа на Колпакову.

— Гервасий Васильевич! — бойко сказала Колпакова. — А у этого больного тяжелая форма или легкая?

— У этого больного тяжелая форма, — недобро ответил Гервасий Васильевич. — Очень тяжелая... А теперь я еще раз объясню всем вам, почему я повторил часть лекции по гнойным процессам. Всего того, о чем я рассказывал, и всего того, что вы сейчас увидите на операции, могло не быть, повторяю, если бы медицинская сестра при цирке, где работал больной, была грамотным специалистом!..

В дверях показался врач.

— Гервасий Васильевич, — спросил он. — Наркоз общий?

— Нет, — светил Гервасий Васильевич. — Это опасно. Слишком тяжелая и длительная интоксикация... Да и сердечко у него скисло.

Нина Ивановна подошла к Гервасию Васильевичу и тихо спросила:

— Вы не боитесь болевого шока?

— Я всего боюсь, — так же тихо ответил Гервасий Васильевич. — Всего, дорогая вы моя Нина Ивановна... Но я еще на больного рассчитываю. На Дмитрия Сергеевича.

Волков лежал на операционном столе. Вокруг стояли люди в белых масках. И Гервасий Васильевич был в маске. Волков впервые видел Гервасия Васильевича в маске и белом клеенчатом фартуке.

Оттого что Волков никого не узнал, кроме Гервасия Васильевича, ему стало не по себе. А тут

еще вдруг затихла боль в руке, и Волков чуть было не попросил отменить операцию. Может быть, так пройдет...

А потом он испугался того, что все сейчас увидят, как он перетрусил, и ему захотелось что-нибудь спокойно сказать или сострить и услышать смех в ответ на свою остроту.

— Ты что так смотришь на меня? — спросил Гервасий Васильевич. — Под маской не узнал, что ли?

— Узнал, — ответил Волков. — Я вас и под паранджой узнаю...

Никто не рассмеялся, и даже Гервасий Васильевич не хмыкнул, а просто сказал:

— Спасибо.

И тут же Волков узнал старшую сестру, бывшего батальонного санинструктора.

Старшая сестра осторожно убрала с его лба волосы и, не снимая теплых ладоней с головы Волкова, встала сзади, у самого края операционного стола.

— Вот тебе, Дима, и собеседница — Алевтина Федоровна, — сказал Гервасий Васильевич. — Можешь за ней пока поухаживать.

«Алевтина Федоровна, — подумал Волков. — Алевтина Федоровна... Милка тоже Федоровна. Людмила Федоровна. Людмила Федоровна Болдырева. Людмила Федоровна Волкова. Как же, держи карман шире!..»

— Алевтина Федоровна, вы не возражаете? — спросил Гервасий Васильевич.

Старшая сестра смущенно засмеялась:

— Пусть ухаживают...

Она сняла одну руку с головы Волкова, взяла большой марлевый тампон и мягко вытерла его вспотевшее от напряжения лицо.

— Нина Ивановна, — сказал Гервасий Васильевич. — Поднимите левую руку Дмитрия Сергеевича... Так. Йод. Спирт. Хорошо. Мы, Дима, вот как сделаем: ты пока не ухаживай за Алевтиной Федоровной, ладно? А пусть лучше Алевтина Федоровна ухаживает за тобой... Но уж поправишься — изволь быть кавалером! И здесь тоже, Сафар Алиевич. Все, все смазывайте! До подмышечной впадины... Вот так. Прекрасно... Выше, Нина Ивановна. Ты, Дима, чего больше всего боишься?

Волков проглотил слюну и глухо ответил:

— Не проснуться после наркоза...

— Вот и хорошо! — обрадовался Гервасий Васильевич. — Вот мы и не будем тебя усыплять...

Волков криво улыбнулся и спросил:

— Так и будете без наркоза резать?

— Э, нет, Димочка... Без наркоза только в переулках режут. Мы тебе сделаем местное обезболивание. Так называемую местную анестезию...:

Ах как это было больно, больно, больно!..

Ах эта сволочь — местная анестезия!!! С ней только поначалу хорошо, а потом она никакая не анестезия!.. Будто ее и вовсе не было...

Волков не крикнул ни разу, не застонал. Только воздух втягивал сквозь стиснутые зубы и выдыхал с хрипом. Да еще упирался затылком в

ладони старшей сестры, и какая-то мутная сила отрывала его спину от жесткого матрасика, выгибала дугой и снова распластывала на операционном столе...

И не слышал ничего, кроме шепота старшей сестры: «Потерпи, потерпи, миленький».

Пот разъедал глаза, затекал в рот, тело стало скользким, влажным, словно в парилке — на самой верхотуре...

«Потерпи, потерпи, миленький...»

Только однажды, перед самым концом, не сдержался Волков.

На мгновение его потрянула такая оглушительная боль, что ему показалось, будто он расплавился и огненной жидкостью расплескался на кафельном полу операционной.

— А-а-аххх! — захлебнулся Волков.

И тут же, у лица своего, увидел очки Гервасия Васильевича.

— Больно?

Волков судорожно, коротко вздохнул несколько раз, помолчал немного, собрал все оставшиеся силы и ответил:

— О... Очень...

— Больше так не будет, — где-то сказал Гервасий Васильевич.

«Потерпи, потерпи, родненький...»

И Волков терпел и мечтал только об одном: хоть бы на мгновение потерять сознание.

Но сознание не покидало его, и теперь он лежал и ждал, когда его будут зашивать. Он знал, что все операции заканчиваются тем, что

рану зашивают, и ждал этого как конца всех мучений.

А его все не зашивали и не зашивали...

Спустя какое-то время Волков стал различать стоявших вокруг людей, и неясные глухие звуки начали превращаться в голос Гервасия Васильевича, который говорил:

— Ну вот и прекрасно. Вот как хорошо... Вот и все... Поглубже, поглубже турундочку... Отлично. Еще одну... И еще. Вот и чудесно... И пульс у тебя прекрасный... Ах ты, Дима, Дима, Дима! Ну полежи, отдохни. Все, все... Перевязывайте, Сафар Алиевич. Легкую, рыхлую повязку. И отток будет лучше...

Гервасий Васильевич медленно стянул с лица маску, и она повисла у него на шее, все еще сохраняя форму его подбородка.

Волков лежал обессиленный и опустошенный, но какая-то неясная тревога мелкой дрожью билась в его сердце и не давала покоя. Он не понимал, чем вызвана эта тревога. Ему казалось, что он о чем-то забыл и, если не вспомнит сейчас же, произойдет ужасное, непоправимое...

— Ну вот, — сказал Гервасий Васильевич. — Поедем-ка мы, брат Дима, с тобой в палату. Хватит с нас операционной...

И тогда Волков вспомнил и закричал срывающимся голосом:

— Забыли!.. Забыли... Зашить забыли!

Все остановились, словно с размаху наткнулись на невидимую стену.

— Зашить... Зашить забыли... — хриплым шепотом повторил Волков.

Гервасий Васильевич наклонился над ним, погладил его по мокрому лицу и сказал:

— Гнойные раны не зашивают. Поедем в палату...

Перевязки, перевязки... Каждый день перевязки. Каждый день большой шприц внутривенно, маленькие — внутримышечно. Почти совсем температура упала. Правда, нет-нет да и подскочит с вечера, зато наутро ее опять как не бывало... И спать теперь Волков научился без всяких помогающих лекарств.

Гервасий Васильевич нарадоваться не мог. Спустя неделю после операции Гервасий Васильевич переехал домой. Вернее, ночевать стал дома, а не в палате у Волкова. А так все свободное время с Волковым проводил. То виноград принесет и просит его съесть обязательно... Дескать, глюкоза или там Кенжетай обидится, а на Востоке стариков обижать не принято. То книжку какую-нибудь притащит, то Хамраева приведет и оставит его в палате часа на два. А три дня назад, в операционный день, забежал к Волкову на секундочку, сунул ему в руку странный, извилистый, жесткий предметик и сказал:

— Вот, брат Дима, посмотри, какую дрянь человек в почке таскал! Самый настоящий почечный камень. Бери, брат, не бойся! Он чистенький...

Дней через пятнадцать Волков выпростал ноги из-под одеяла, осторожно приподнялся на правом локте и, оберегая левую руку, впервые за месяц сел. Посидел немного, покачался, как китайский болванчик, протянул руку, стащил со спинки кровати мышинный халат с шалевым воротником, натянул себе на плечи. И устал чрезвычайно...

Вошла старуха нянечка, позвякивая чистыми утками.

Волков отдышался и рукой на нее замахал: — Все! Все! Не нужно. Я теперь сам ходить буду.

— Как же... Будешь!.. — недоверчиво протянула нянечка и с интересом поглядела на Волкова.

— Пожалуйста. — Волков встал и, сдерживая дрожь во всем теле, сделал несколько шагов к двери.

Нянечка поставила утки, подхватила его под руку и спросила:

— А Гервасий Васильевич чего скажет?

Не отвечая, Волков вышел в коридор.

— Где? — спросил он нянечку.

— Чего?

— Ну это...

— А... Дак вот, напротив! Гляди-ко...

— Спасибо.

— Идем, идем, — строго сказала нянечка. — Я постерегу тебя.

— Еще чего, — покраснел Волков.

— Ты мне не кавалерствуй! — разозлилась старуха. — Подумаешь, принц какой! Все могут, а ему прискорбно, гляди-ко! Иди давай...

Довела Волкова до двери уборной и верно осталась его сторожить.

— И запираться не смей, ни в коем разе! Худо станет — не до сраму будет! — крикнула ему в дверь нянечка.

Стало действительно худо. Волков постоял в уборной и, чувствуя, что сейчас начнет падать, привалился плечом к стене. Голова у него кружилась, и весь он покрылся холодным, липким потом.

— Ты чего там? — тревожно спросила из-за двери нянечка.

Волков с усилием оторвался от стены и открыл дверь.

— Ничего... Порядок...

Нянечка увидела его побелевшее влажное лицо, взяла его правую руку, вскинула себе на плечи и, поддерживая за спину, повела Волкова в палату, презрительно приговаривая:

— Смотри, «порядок»! Краше в гроб кладут... Иди, иди, бегун! Самостоятельные все какие, гляди-ко... Гервасий Васильевич узнает — ужо тебе мало не будет. Он те даст... Вовек не захочешь вскакивать!..

Вскоре в палату вошел хмурый Гервасий Васильевич. За ним протиснулся Хамраев и с порога заявил Волкову:

— Сейчас мы будем хлебать компот по всем правилам!

Гервасий Васильевич укоризненно посмотрел на Хамраева и сел на кровать Волкова.

— Больше чтобы не было никаких самостоятельных походов. Никаких! Вставать с постели категорически запрещаю. Абсолютный покой — основа выздоровления...

Гервасий Васильевич чуть было не сказал «основа спасения», но вовремя удержался.

— Ах злодей старушечка! — усмехнулся Волков.

— Кремень старушечка! — сказал Хамраев. — Это дежурная сестричка ваши пируэты видела...

Волков посмотрел на Гервасия Васильевича, и ему вдруг захотелось прижаться лицом к его руке — сильной, сухой, стариковской руке. Но он не шевельнулся, а только бормотнул:

— Я думал, на поправку дело пошло.

— И нам так хочется думать, — осторожно сказал Гервасий Васильевич. — Но сейчас, как никогда, нужно быть дисциплинированным. Пожалуйста, Дима, не делай этого больше...

— Хорошо, Гервасий Васильевич. Не буду. Мне и самому-то неважно было...

— Я думаю!.. — вздохнул Гервасий Васильевич. — Удивительно, что ты еще не брякнулся где-нибудь...

— Старушка плечико подставила, — подмигнул Хамраев Волкову.

Гервасий Васильевич встал.

— Я оставляю тебе Сарвара Искандеровича, — сказал он. — А ты ни на секунду не забывай, что товарищ Хамраев один из отцов города, так

сказать, член его правительства. И наверное, каждое свое посещение частного лица он расценивает как хождение в народ. Так что постарайся, брат Дима, чтобы он ушел от тебя обогащенным, прикоснувшись к истокам народной мудрости. Расскажи ему что-нибудь про цирк... По-моему, это единственное, в чем он ни черта не смыслит.

— Ну и злыдня вы, мэтр! — всплеснул руками Хамраев.

— Страшный человек, — подтвердил Волков.

Гервасий Васильевич шел по больничному коридору и думал о Волкове.

«Я не хочу его потерять, — думал Гервасий Васильевич. — Я и так потерял многое. Мне поздно что-либо приобретать, но терять я тоже не имею права. Я был бы ему хорошим отцом. Ему же нужны родители... Родители всем нужны. Тогда я, наверное, не умел быть хорошим родителем».

Когда-то он растерял всех своих раненых. Он радовался тому, что они уходят от него здоровыми и невредимыми. И вместе с каждым раненым уходил кусок жизни самого Гервасия Васильевича. Но тогда казалось, что жизнь его никогда не кончится, и ему не приходилось жалеть эти кусочки самого себя, которые уносили спасенные им люди.

Но вот уже сколько лет прошло, а он все еще ни разу не почувствовал того, что испытывал на фронте, — желание отдать лоскут

своей жизни, чтобы спасти чужую. Он ни разу не почувствовал восторга, безумной горделивой радости, которая приходила к нему в госпиталях, когда он убеждался, что удержал человека на этом свете.

Он все правильно делал, честно делал и учил правильности и честности других. Это была его профессия, его характер.

Только ему ни разу не показалось даже, что от него требуется еще и лоскут жизни.

А вот поди ж ты, приехал этот нелепый цирк, появился в больнице Волков, и почудилось Гервасию Васильевичу, что вернулось время, ради которого нужно жить на свете, даже если за шестьдесят пять лет у тебя будет всего два-три таких года.

Он не может потерять. Эгоизм? А, черт с ним! Пусть Хамраев что хочет говорит об эгоизме!.. Сейчас жизнь Гервасия Васильевича в руках у Волкова. Если бы он это мог понять! Если бы он мог не отбирать того, что сам, не ведая, принес Гервасию Васильевичу!.. Если бы он не уезжал... Остался бы тут, и ходили бы они гулять вечерами по черным пыльным улицам, сидели бы на теплых камнях у ледяной речушки вдвоём. Нет, втроем... Они бы дружили с Хамраевым.

Ему все равно некуда ехать. Ну какого черта ему тащиться в Ленинград? Ведь он сам говорил, что у него там никого нету...

А если он в цирке захочет работать? А если он в цирке сможет работать, пусть, пожалуйста, работает. Только чтобы дом его здесь был. Пусть

приезжает в отпуск или, как там... в это «межсезонье». Он же сам говорил, что у них бывает такая штука, «межсезонье». Гервасий Васильевич будет ждать его.

На долю секунды Гервасий Васильевич вдруг захотел, чтобы Волков не смог работать в цирке. Чтобы остался живым и здоровым, только в цирке не смог работать. Но он отогнал от себя эту мысль и почувствовал себя отвратительно, словно предательство совершил...

Пусть работает в цирке. Гервасию Васильевичу нужно только знать, что он закончит работу и приедет. Отдохнет, поживет и уедет. Гервасий Васильевич проводит его и снова ждать будет...

Как-то вечером в больницу пришел Хамраев и увел Гервасия Васильевича к какому-то своему приятелю на серебряную свадьбу. Было шумно, пьяно и торжественно-весело. Гервасий Васильевич сидел со стариками, и ему как почетному гостю был поручен ритуальный дележ бараньей головы. Хамраев и отец жениха стояли за спиной Гервасия Васильевича и тихонько подсказывали ему правила разделки, а еще — что кому давать. В этом обычае был какой-то неясный для Гервасия Васильевича смысл, и из всех правил он запомнил только то, что «уши — детям».

От усталости Гервасий Васильевич сильно захмелел, и Хамраев пошел его провожать. По дороге Гервасий Васильевич несвязно и сбивчиво пытался рассказать Хамраеву все, о чем думал последние дни. О себе, о Волкове и о многом другом.

Хамраев держал Гервасия Васильевича под руку и молча кивал головой.

Изредка он говорил:

— Осторожнее.

Или:

— Здесь ступенька...

— Давайте лучше обойдем арык...

Уже у самых ворот Гервасию Васильевичу показалось, что Хамраеву все это неинтересно, что весь этот разговор он воспринимает как болтовню нетрезвого старика и ждет не дождется, когда этот старик угомонится.

Гервасий Васильевич обиделся, замолчал на полуслове и устыдился себя до ярости. Он освободился от руки Хамраева и подчеркнуто холодно попрощался с ним. Хамраев удивленно пожал плечами, пожелал ему спокойной ночи и ушел.

Всю ночь Гервасию Васильевичу было плохо — болело сердце, мутило, а под утро разыгралась такая изжога, что Гервасий Васильевич стонал от отчаяния, слонялся в одних трусах по комнате и тщетно пытался вспомнить, где лежит пакетик с содой...

Спустя неделю Хамраев привел к Волкову молодого человека в красивых сандалиях и белоснежной рубашке. Из рукавов короткого халата выглядывали тонкие темные руки с длинными пальцами и чуть синеватыми ногтями.

— Вот, — сказал Хамраев. — Знакомьтесь, Дима. Это Гали Кожамкулов. Герой Советского Союза. Единственный в нашем городе. И в то же

время, заметьте, пропорционально населению, у нас Героев больше, чем в Москве. Здорово?

— Грандиозно! — улыбнулся Волков. — Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста.

Кожамкулов осторожно присел на стул. Он быстро оглядел палату узкими припухшими глазами и машинально вытянул из кармана сигареты. Потом посмотрел на Волкова и спрятал сигареты в карман.

— Напрасно, — с сожалением сказал Волков.

Кожамкулов вопросительно взглянул на Хамраева.

— Черт с вами, — сказал Хамраев. — Курите. Может быть, в табачном дыму легче снюхаетесь. Погодите, я только плотнее прикрою дверь и распахну окно.

Кожамкулов и Волков закурили, а Хамраев взялся просматривать новый номер «Иностранной литературы», утром принесенный Гервасием Васильевичем.

— Сами из Ленинграда? — с легким акцентом спросил Кожамкулов.

— В общем-то из Ленинграда, — ответил Волков.

— Почему «в общем»?

— Редко там бываю... — сказал Волков и подумал, что Кожамкулов, наверное, из тех людей, которые не терпят приблизительности и неопределенности. Таким людям все подавай в масштабе один к одному.

— Изумительный город, — томно сказал Хамраев.

— Был там? — спросил Кожамкулов.

— Был пару раз..

— А я жил там, — сказал Кожамкулов. — Два года и три месяца.

— Где?

— Басков переулок, семь, квартира одиннадцатая. Комнату снимал.

— Гали Кожамкулович — начальник местного аэропорта, — пояснил Хамраев. — Он в Ленинграде в какой-то там авиашколе учился...

— Зачем «в какой-то»? — строго сказал Кожамкулов. — В Высшем училище Гражданского воздушного флота. На Литейном, знаешь? Около Центрального лектория.

— Знаю, — сказал Волков. — Я там жил напротив. До войны.

— Где кафе-автомат?

— Нет. За углом, на Семеновской.

— Где такая?

— Это по-старому Семеновская... На Белинского.

— Так и говори, — сказал Кожамкулов. — Знаю. Там у меня друг комнату снимал. А потом задолжал хозяйке за три месяца и женился на ней.

Волков и Хамраев засмеялись. Кожамкулов подождал, когда они перестанут смеяться, и со вздохом добавил:

— Очень красивая у него была хозяйка. Не так чтобы молодая, но красивая. Видная из себя женщина.

Хамраев посмотрел на часы и сказал:

— Вы уж меня простите, я вас оставлю на полчаса. У меня тут еще куча дел... И не курите много.

Когда за Хамраевым закрылась дверь, Кожамкулов пододвинул стул к кровати Волкова и спросил, глядя на него немигающими узкими глазами:

— Ты какую школу кончал?

— Чкаловское военно-авиационное училище...

— На чем летал?

— На «По-2»... «СБ» еще застал. Кончал на «пешках». Переучивался на «Ту-2»...

— Почему ушел?

— По сокращению.

— Летал плохо? — прямо спросил Кожамкулов.

— Нет, — твердо ответил Волков. — Летал хорошо. По сокращению.

С Кожамкулова спало напряжение, и он задвигался на стуле, устраиваясь поудобнее.

— У тебя пепельница есть? — спросил он.

— Посмотри на подоконнике, — сказал Волков.

Не вставая со стула, Кожамкулов вытянул шею и посмотрел в сторону окна.

— Нету там ничего.

— Тогда стряхивай сюда, — сказал Волков. — В блюдце. Я все время в блюдце стряхиваю.

Они немного помолчали. А потом вдруг Гали Кожамкулов стал рассказывать Волкову

про себя: про то, как учился в школе морской авиации, как Героя получил, как в пятидесятых годах тоже попал под сокращение, как его отстоял командующий ВВС округа и как уже потом сам Кожамкулов обиделся и уволился из армии. Сейчас бы, конечно, этого не случилось, а тогда сплеча рубили — самолеты списывали, летчиков увольняли... Очень тогда обиделся Кожамкулов.

— Тебе сколько? — спросил Волков.

— Я уже старый, — ответил Кожамкулов. — У меня внук скоро будет. Сорок четыре мне... Выйдешь из больницы, что думаешь делать?

Волков неопределенно хмыкнул.

— В цирке выступать будешь? — спросил Кожамкулов.

— Смогу, так буду.

— А если не сможешь?

— Не знаю.

Кожамкулов закурил новую сигарету и не мигая уставился на Волкова:

— Вот что. Сможешь — не сможешь, зачем тебе цирк? Ты не мальчик. Зачем тебе кувыркаться! Люди смотрят, а мужчина кувыркается как петрушка. Нехорошо. Не к лицу. Мужчина ведь... И потом, как ты можешь жить так? Ты же авиатор.

— Когда это было!.. — усмехнулся Волков.

— Когда бы ни было. Ты сколько летал?

— Шесть лет.

— Шесть лет! Как же ты мог забыть? Три дня нельзя забыть, а ты шесть лет забыл! Я не

говорю садись за штурвал, шуруй по газам, лети. Я говорю — давай работать в авиации. Диспетчером будешь. Все рейсы в твоих руках. А заведешь-ся — и подлетнуть можешь. Я тебе сам вывозные дам. И климат у нас лучше. Тумана нет, сырости нет. В горы ходить будешь. Ты не молчи. Ты думай...

Будто Волков и не думал. Будто он сам никогда не хотел из цирка уйти. Но не потому, что мужчине не к лицу кувыркаться на людях. Что он понимает в цирке? Что он смыслит в том, чему Волков отдал тринадцать лет жизни?! И за тринадцать лет Волков таких, как этот, десятки видел. Для них что цирк, что театр, что художник, что писатель — все несерьезно, баловство одно. А вот то, что они делают, это да! Это необходимо. И судят вкривь и вкось обо всем, о чем понятия ни на грош не имеют. Разговаривают с актерами ласково-пренебрежительно, водку с ними охотно пьют, на «ты» легко переходят, а потом в компании презрительно хвастают: дескать, помню, сидели мы с Мишкой таким-то (называю фамилию известного артиста). Ну чудик! Начнет представлять — живот надорвешь!.. Легко живет, собака. Ему бы в нашем котле повариться!

И все врет: и то, что «представлял Мишка», и то, что «легко живет, собака»... Врет без зазрения совести. Да нет. Не врет, пожалуй. Скорее всего, убежден в этом свято, купчески.

Лучше бы врал...

Шесть лет авиации, видишь ли, нельзя забыть, а тринадцать лет цирка можно? А что ты знаешь про цирк? Про репетиции изнурительные, про ежедневную победу над собственным страхом, про восторг, радость неопишущую, когда трюк получился! Два года не получался, а вот наконец получился, и сам черт тебе не брат!.. А про ахиллесовы сухожилия, которые в холодном манеже рвутся пистолетным выстрелом и двадцатилетнего акробата-прыгуна в одну секунду делают инвалидом третьей группы, знаешь? А тебе партнер на ночь горячие ванны для рук делал каждый вечер? Потому что суставы опухают, пальцы в кулак не сжимаются, ложку не держат...

А мордочки детей на воскресных утренниках ты видел? Когда они визжат от хохота, замирают от ужаса, ахают... Ты им снился когда-нибудь?

А про трагедии стареющих цирковых тебе что-нибудь известно? Когда полетчик-вольтижер полжизни репетирует тройное сальто, и, пока он молод, оно у него не получается, потому что опыта не хватает, а к тридцати пяти годам, набравшись этого самого опыта, воспитав в себе нечеловеческое чутье и реакцию, вдруг понимает, что ему так никогда и не сделать это тройное сальто. Пришел опыт — ушла молодость. Покинула полетчика бешеная скорость вращения, бездумная храбрость, неутомимость, которые так необходимы для выполнения тройного сальто. И

не сделает он его уже никогда. Потому что ничего в жизни не дается даром.

— Что с тобой? — спросил Кожамкулов. — Врача позвать?

Волков не ответил.

— Я за доктором сбегаяю... — сказал Кожамкулов.

Уж если уходить из цирка, так не из презрения к нему, не из жалости к себе. Вот если ты вдруг понял, что торчишь здесь, как по шляпку вбитый в стену гвоздь, — ни вперед, ни назад (вернее, только назад), тогда уходи. Уходи и будь благодарен цирку за то, что он подарил тебе эти тринадцать лет...

Или другое. Если ты любишь женщину — чужую жену, если пути-дороги ваши постоянно скрещиваются и ты живешь непроходящим страхом, что однажды вас соединят в одной программе с ней и с ее мужем, что каждый день вам придется здороваться и прощаться, поддерживать незначительные разговорчики и вспоминать не то, что хочется, — уходи. Не мучай ее, не трави себя — уходи. Это чужая семья, и ты не имеешь права хотя бы одного человека этой семьи делать несчастным. Уходи...

Зачем тебе ночами не спать от ревности и тоски или просыпаться от собственных слез и курить до утра, удивленно разглядывая сырые пятна подушки? Ожесточаться против ее мужа — хорошего, неглупого, веселого парня? Зачем тебе думать о том, смог бы ты полюбить ее сына и

стать ему отцом, раз уж никому твоя любовь и отцовство не нужны...

Если ты действительно любишь ее — уходи из цирка. Подари ей спокойствие. Чтобы не могли подружки увести ее в конец полукруглого закулисного коридора и значительно сообщить: «Только что из Казани... Там твой бывший партнер работал...» И вглядываться ей в лицо: какое на нее впечатление это произведет? Чтобы не пришлось ей, затянувшись сигареткой, сдерживать себя и постараться как можно спокойней спросить: «Ну как он там? Все еще не женился?».

Вошел Гервасий Васильевич. В створе медленно закрывающейся двери Волков увидел встревоженного Кожамкулова.

— Что с тобой, Дима? — спросил Гервасий Васильевич. — Тебе нехорошо?

— Нет. Все в порядке.

— Ты звал меня?

— Нет. То есть да... Гервасий Васильевич, вы там извинитесь за меня. Я хочу один побыть.

— Хорошо.

— И оставьте мне, пожалуйста, спички.

А может быть, действительно бросить все, уйти из цирка? Снять какую-нибудь комнатуху здесь, неподалеку от Гервасия Васильевича, поступить в городскую спортшколу и учить мальчишек акробатике?... Может, придет счастье полной мерой, когда он увидит гордые, хвастливые глаза десятилетних пацанов, которых он, Волков, бывший цирковой артист, научит стоять на руках, крутить сальто-мортале? Мальчишка, умеющий

делать что-нибудь такое, чего не могут сделать другие мальчишки, всегда кажется себе избранником божьим.

Вот с ними он бы стал ходить в горы. С ними и с Гервасием Васильевичем. Если это, конечно, будет не вредно для здоровья Гервасия Васильевича.

А если сюда снова забредет какой-нибудь передвижной цирк, вроде того, с которым он сам приезжал? Еще, чего доброго, найдут его, жалеть начнут, сам Волков проникнется к себе жалостью. Тринадцать лет — это тебе не баран начхал.

Волков тогда сядет в поезд и на этот месяц уедет в Ленинград. «Передвижка» все равно в маленьких городах больше месяца не стоит, а в Ленинград так или иначе Волкову придется съездить.

А будет ли у него работать левая рука, будет ли она вообще у него — это уже не так важно. Если в одно время с ним на земле живет такой человек, как Володя Гречинский, то Волков не имеет права ни на какое слюнтяйство.

Конец ноября был холодным и ветреным. Мутное низкое небо с утра накрывало горы, и невысокие лысые предгорные холмы неожиданно оказывались самыми высокими точками на горизонте. Но бывали дни, когда даже их круглые вершины молочно размывались спустившимся туманом, и тогда в городе шел дождь и арыки

пенились грязно-желтыми лопающимися пузырями.

К вечеру туман обычно рассеивался, и холмы переставали быть высокими. Они снова становились просто предгорными холмами, четко впечатанными в подножие огромных вздыбленных гор. И если летом горы были только в шапке белых снегов, то теперь они стояли в снеговом полушубке.

Волков выздоравливал.

— А в горах ночью опять снег выпал... — грустно говорила старшая сестра Алевтина Федорвна. — Что-то рано в этом году.

— Пора окна заклеить, — говорил Гервасий Васильевич. — Не хватает тебе еще простудиться, Волков. Что пишет твой любезный партнер?..

— По-моему, мэтр явно недооценивает могучие возможности вашего организма, — сказал Хамраев. — Нам давно пора выпить. Я тут несколько дней мотался по горным аулам во главе одной санинспекции и, представьте себе, на высоте полутора тысяч метров в потребсоюзовской лавке обнаружил залежи изумительного французского коньяка «Наполеон»! Что-нибудь более нелепое вы слышали?

— Нет, — ответил Волков.

— Отгадайте, что я сделал?

— Вы превратили коньячный аул в безалкогольный поселок?

— Кто вам сказал, что вы акробат? Вы новинец!.. В цирке есть такой жанр?

— Что-то похожее есть... Называется «мнемотехника».

— Фу, дрянь какая! — возмутился Хамраев. — Что за отвратительное название — «мнемотехника»!.. Изгадили великолепное загадочное ремесло! Так и слышится: «Краткий курс мнемотехники. Учпедгиз. Второе, исправленное издание». Или: «Вечер встречи выпускников мнемотехникума». Какой ужас!..

— Не уходите от темы, — сказал Волков. — Давайте про коньяк.

— Пожалуйста. Я вчера зашел к нашему управляющему торгом...

— Управляющий торгом — тоже довольно изящное сочетание.

— Не огрызайтесь, Дима. Вам вредно. Так вот: я спрашиваю его, откуда в ауле «Наполеон», а он мне отвечает: «Ошибочный заброс». Как вам это нравится?! Может, «наполним бокалы, содвинем их разом»?

— С превеликим...

— Пойду согласую с Гервасием... Вы когда-нибудь пили «Наполеон»?

— Пил.

— Ну вас к черту! — огорчился Хамраев. — Вас ничем не удивишь. Но то, что он из горного аула, вы оценили?

— Конечно!

— Тогда я иду просить «добро».

Но Гервасий Васильевич категорически запретил «Наполеон» да еще и накричал на Хамраева. А потом вдруг как-то сразу скис, растерялся и показал Хамраеву письмо от Стасика. Стасик писал Гервасию Васильевичу, что хочет приехать за Волковым, и, если все будет в порядке, просит Гервасия Васильевича написать в Москву, когда ему следует вылетать. Только просит ничего не говорить Волкову. Пусть это будет для него сюрпризом...

— Когда вы хотите выписать Волкова? — спросил Хамраев.

— Недели через полторы...

— Но ведь у него почти полная потеря функций левого предплечья!

— Верно. Но функции можно восстановить месяца за два, за три, и не в стационаре. Ультрафиолетовые облучения. УВЧ, соллюкс, парафино-озокеритовые аппликации, лечебная гимнастика, массаж... Мало ли способов избавиться от рубцовой контрактуры и разных послеоперационных неприятностей. Важно, что есть кого лечить и у этого «кого» есть что лечить...

Минуту они молчали. Гервасий Васильевич выбирал из коробка горелые спички и аккуратно укладывал их в ряд на столе. Хамраев смотрел в окно.

— Интересно, он понимает, из какого положения он выбрался? — не поворачиваясь, спросил Хамраев.

— Понимает... — ответил Гервасий Васильевич. — Он был готов ко всему. Я вам по-

казывал последний рентген его левого локтевого?

— Показывали, — сказал Хамраев. — Что вы собираетесь написать этому парнишке?

— А что я могу ему написать? — Гервасий Васильевич пожал плечами, снял очки и стал протирать их полой халата. — Наверное, то, что сказал вам... «Все в порядке. Прилетайте к середине декабря. Дмитрию Сергеевичу я ничего не скажу. Будем с вами играть в сюрпризы...» Ну и так далее... Что в таких случаях нужно писать? Откуда я знаю?

Стасик прилетел двенадцатого декабря, в восемь часов сорок минут утра по местному времени. В половине десятого он уже сидел в приемном покое больницы и ждал Гервасия Васильевича. У ног Стасика стояли два чемодана с аэрофлотскими картонными бирками. Один — маленький, элегантный — Стасика; другой — побольше, старый, из настоящей кожи, с ремнями, крупными медными замками, потертый и исцарапанный, в красочных наклейках европейских отелей — чемодан Волкова.

Только позавчера в Москве Стасик вытащил этот чемодан из циркового багажа, уложил в него длинную меховую куртку Волкова, его теплую шапку, зимние ботинки на «молнии» и свитер. Потом вспомнил, что у Волкова нет перчаток, помчался в Столешников и выстоял двухчасовую очередь в магазине мужской галантереи, где в

этот день продавали какие-то особые, сверхпрочные и ультратеплые импортные перчатки.

— Здравствуйте, Стасик, — сказал Гервасий Васильевич.

— Гервасий Васильевич! — Стасик вскочил со стула. — Здравствуйте, Гервасий Васильевич. Я летел и все время думал, что скажу вам... Ну прямо нет слов...

Руки Стасика дрожали, и лицо покрылось красными пятнами.

— Так это же чудесно! — рассмеялся Гервасий Васильевич. — Нет слов — и не нужно. Сбрасывайте свои зимние одежды. В Москве холодно?

Стасик кивнул головой.

— Отдайте кому-нибудь чемоданы. Это чей такой пестрый? Ваш?

— Его...

Стасик схватил руку Гервасия Васильевича и крепко пожал.

Гервасий Васильевич похлопал Стасика по плечу и сказал.

— Раздевайтесь, раздевайтесь. Вы что думаете, что я вас во всем этом в палату пущу?

Стасик сбросил пальто и шапку на стул, подбежал к двери и стал яростно вытирать ботинки о резиновый коврик.

— Эй, девицы-красавицы! — крикнул Гервасий Васильевич дежурным сестрам. — Ну-ка примите доспехи! Дайте-ка халат заморскому гостю!

«Вот и все... — думал Гервасий Васильевич, глядя, как Стасик неумело натягивает халат. —

Прощайте, Дмитрий Сергеевич. Авось еще свидимся. Только вы уж не хворайте. Так всем лучше будет...»

У палаты Волкова Гервасий Васильевич приложил палец к губам и сказал Стасику:

— Сюрприз так сюрприз... Подождите здесь.

Он зашел в палату. Волков в пижаме и наброшенном на плечи халате сидел у окна и читал.

— Ты завтракал? — неожиданно для себя спросил Гервасий Васильевич.

— Да, — ответил Волков и запомнил страницу, на которой остановился. — Я давно хотел спросить вас, Гервасий Васильевич, да все забывал. Вы не знаете, в городе есть спортивная школа? Ну где дети занимаются в разных кружках...

— Есть, — удивился Гервасий Васильевич. — Мы у них два раза в год медосмотры проводим. А зачем тебе это?

— Нужно, — ответил Волков и встал.

— Ты лучше сядь, — сказал Гервасий Васильевич. — К тебе гость.

— Сарвар?

— Нет, — Гервасий Васильевич открыл дверь и сказал в коридор: — Зайдите, пожалуйста.

К дверям показался Стасик.

— Ох, черт побери!.. — тихо и счастливо произнес Волков. — Стас!.. Откуда ты, прелестное дитя?!

— Дима! — закричал Стасик, заплакал и бросился к Волкову.

Гервасий Васильевич вышел из палаты и плотно притворил за собой дверь.

В тот же вечер Хамраев пригласил всех к себе.

Кроме Гервасия Васильевича, Волкова и Стасика пришел Гали Кожамкулов с женой Ксаной. Мать Хамраева, Робия Абдурахмановна, сразу же увела Ксану на кухню, и оттуда все время слышался громкий голос Ксаны, которая не переставала жаловаться на мужа:

— Я ще с весны ему говорила: «Галько! Поидымо на Украину, в Тетеревку... Там тоби и рыбалка, и кавуны, и шо твоей душеньке требуется... А мамо таки вареники з вышней зробит, шо твоему плову не дотягнуться!» А вин мне каже: «Шо я там не бачив, в цей Украине? Айда, — каже, — в Прибалтику. От-то отпуск будэ!» Поихалы, дурни, а там така холодрыга, таки дожди, боженьки ж ты мой!.. Шоб она сказылась, тая Прибалтика! Шоб я ее в упор не бачила!..

Хамраев накрывал на стол.

Кожамкулов сидел на тахте рядом с Волковым, прислушивался к голосу Ксаны и виновато морщился.

Волков все заправлял под воротник концы широкой черной косынки, в которой покоилась левая рука, и пытался увидеть свое отражение в зеркале — было непривычно и радостно, что на нем не полосатая пижама и байковый халат, а

старые вельветовые брюки и привезенный Стасиком свитер. Но между зеркалом и тахтой мотался Хамраев то с тарелками, то с рюмками, и Волков так и не разглядел себя толком.

— Ты меня прости, что тогда так получилось, — сказал он Гали Кожамкулову. — Я потом все ждал, что ты зайдешь...

Кожамкулов вытащил сигареты и протянул Волкову. Волков взял сигарету, размял ее и сунул в рот. Правой рукой он переложил поудобней левую в черной косынке и достал из кармана брюк спички.

— Давай помогу, — предложил Кожамкулов.

— А я и сам с усам, — Волков положил коробок на колено и одной рукой зажег спичку. Он дал прикурить Кожамкулову, прикурил сам и положил спички в карман.

— Я в отпуске был, — сказал Кожамкулов.

— Это я слышу, — улыбнулся Волков.

В коридоре мрачный Стасик говорил Гервасию Васильевичу:

— Он не хочет ехать... Он вообще собирается уйти из цирка! Он говорит, что останется здесь и будет работать в спортивной школе. Гервасий Васильевич!.. Вы ему скажите... Он вас послушает. Он мне про вас знаете что писал? Вы, может, даже и не знаете, что вы для него значите!..

— Не знаю, — грустно согласился Гервасий Васильевич.

— Вы ему скажите, что так нельзя... Мне в главке прямо заявили: если у Волкова к марту с рукой все будет в порядке, дадим месяц репетиционного и оформим поездку за рубеж. На

полгода, представляете? Индия, Индонезия и Бирма!

— Вы ему говорили об этом? — спросил Гервасий Васильевич.

— А как же!

— И что?

— Смеется! Говорит, что ему очень нравится Советский Союз... В частности, Средняя Азия.

Гервасий Васильевич посмотрел на Стасика, помолчал немного и спросил:

— А вам никогда не приходило в голову, что у него могут быть причины для ухода из цирка?

Стасик даже руками замахал:

— Что вы, Гервасий Васильевич! Какие причины?.. Из-за границы не вылезал, ставка персональная... В любой программе только и слышно: «Волков! Волков!..» Вы знаете, как к нему относятся? Нет у него никаких причин!

— Стасик! — крикнул из комнаты Хамраев.

— Я здесь, Сарвар Искандерович! Я с Гервасием Васильевичем!..

— Помогите мне со столом управиться, — попросил Хамраев.

— Иду! — крикнул Стасик. Он повернулся к Гервасию Васильевичу и сказал: — Поговорите с ним... Он только вас и послушает.

— Мужики! — закричала из кухни Ксана. — Ну-ка бегите до ванной руки мыть! Швыдче, швыдче!..

Волков с удовольствием демонстрировал умение обходиться одной рукой и однажды провозгласил тост за нового руководителя номера «Акробаты-вольтижеры» — за Стасика и пожелал ему хорошего нового партнера...

Часам к двум ночи Ксана и Робия Абдурахмановна стали убирать со стола, а Хамраев приготовил кофе и заявил, что жизнь только начинается.

— Как в лучших домах Лондона! — сказал он и поставил на стол большую красивую бутылку французского коньяка «Наполеон». — Дима! — кричал Хамраев. — Вы оценили мое мужество? Мою стойкость? Этот волшебный напиток ждал вас в течение двух недель... Разливайте же его, черт возьми!..

И Волков разливал коньяк по рюмкам, и впервые за много-много дней, может быть и лет, на душе у него было хорошо и спокойно.

В кухне Ксана негромко пела какую-то украинскую песню и помогала Робии Абдурахмановне мыть посуду. Волков рассказывал Гервасию Васильевичу про Володю Гречинского, а Кожамкулов и Хамраев показывали друг другу карточные фокусы. Хамраев все время кричал Волкову:

— Вы посмотрите, какая у меня техника! Какое мастерство!.. Я мог бы работать в цирке?..

— Ты шулером мог бы работать, — говорил Кожамкулов, отбирал у Хамраева колоду и начинал бубнить: — Я тебе такой фокус покажу, что ахнешь... Задумай карту!..

Из кухни выглянула Ксана и, широко улыbnувшись, сказала:

— Галю! Лапушка!.. Та ты же не позорься. Вин же у тебе никогда не получався!.. А надымили-то, батюшки!..

Она оглядела комнату и всплеснула руками:

— Стасик-то спит, дитяtko! А вы, здоровенные, орете, як кочета! Гервасий Васильевич, будьте ласки, хоть вы их приструните... Они вас обое боятся.

Стасик спал. Бессонная ночь в самолете, волнение, обида и три полных бокала сухого вина сморили его еще час назад.

Кожамкулов и Хамраев перетащили Стасика в маленькую комнатку Робии Абдурахмановны, раздели его и уложили на высокую кровать. Было решено, что Волков тоже останется ночевать у Хамраева. Они только проводят Гервасия Васильевича домой и вернутся. А уже завтра будут думать, что делать дальше...

Все стояли в передней. Кожамкуловы прощались с Робией Абдурахмановной, а Гервасий Васильевич помогал Волкову застегнуть куртку.

— Пошли? — спросил Хамраев и открыл входную дверь.

— Сейчас, — сказал Волков. — Я догоню вас. Только гляну, как там Стас.

Он прошел в маленькую комнатку. Оберегая в темноте левую руку, Волков на что-то наткнулся и уронил стул. Тут же, у дверного косяка, Волков нащупал выключатель и зажег свет. Он поднял стул, повесил на его спинку брюки

Стасика и только хотел выйти из комнаты, как Стасик поднял сонную голову от подушки и сказал:

— Это ты, Дим?

— Я, — ответил Волков. — Спи.

Стасик почмокал губами и пьяненько забормотал:

— Знаешь, я тебе забыл сказать...

— Завтра скажешь. Спи.— И Волков потянулся к выключателю.

— Меня Мила Болдырева провожала...

— Что?.. — Волков резко повернулся к Стасику.

— Она сказала, что будет ждать тебя в Москве... Я тебе завтра все расскажу...

Волков подскочил к Стасику и затряс его:

— Стас! Проснись! Стас!.. Да Стасик же!.. Проснись сейчас же!

Стасик открыл испуганные глаза и приподнялся на локте.

— Ты чего, Дим?..

— Говори... — хрипло сказал Волков. — Что она еще сказала?

— Ничего, — Стасик зевнул и закрыл глаза. — Сказала, что ждет тебя в Москве. Она месяца два как с Игорем разошлась. Об этом все знают... Я ей уже во Внукове говорю: «Людмила Федоровна, вы ему напишите что-нибудь...» — а она говорит: «Не нужно. Ты ему передай только... Он все сам поймет...»

Утро выдалось солнечным. Белые горы зубренно врезались в холодное голубое небо. Резкий ветер гнал по аэродрому пыль и мелкие обломки сухого курая.

До вылета оставалось десять минут.

Стасик был уже в самолете. Он метался в овале самолетной двери и, высовываясь из-за плеча бортпроводницы, что-то весело кричал Хамраеву и Кожамкулову.

Гервасий Васильевич и Волков стояли внизу, у первой ступеньки трапа.

— Я тебе там все написал, — говорил Гервасий Васильевич. — Постарайся сразу попасть к Харлампиеву или Бродскому. Это прекрасные травматологи... Ты записал телефон Бродского?

— Записал...

— А к Харлампиеву прямо в клинику... Сядешь на метро, доедешь до Калужской, или как там она сейчас называется, пройдешь прямо и повернешь направо... Тебе любой покажет.

— Не нужно все это, Гервасий Васильевич... — глухо проговорил Волков, пряча лицо от ветра. — Я вернусь. Я обязательно вернусь...

— Хорошо, хорошо... — торопливо перебил его Гервасий Васильевич. — И сам шевели пальцами почаще... Начинай потихоньку разрабатывать кисть. Достань кусок резиновой губки и сжимай ее...

— Я вернусь, — упрямо повторил Волков. Он обнял Гервасия Васильевича одной рукой и прижался лицом к его щеке. — Я, может быть, не один вернусь...

И тогда Гервасий Васильевич подумал о том, что он слишком стар для того, чтобы так долго себя сдерживать, — подбородок у него затрясся, и он почувствовал себя точно так же, как и много лет тому назад, когда на перроне Казанского вокзала провожал своего сына в Среднюю Азию.

— Ты мне только пиши! — прошептал Гервасий Васильевич. — Только пиши...

Он, кажется, даже сказал то же самое. И в этом не было ничего удивительного...

Это было
недавно,
это было
давно...



Смолоду Виталий Петрович занимался черт знает чем.

Он демобилизовался из армии в начале пятидесятых годов, двадцати четырех лет от роду, вернулся в свой большой областной город, купил на барахолке аттестат об окончании какой-то мифической средней школы, и поступил в первый попавшийся институт без экзаменов. Тогда еще, слава Богу, были такие льготы для демобилизованных.

Протянул Виталий Петрович с грехом пополам до третьего курса, плюнул на высшее образование и ушел работать в такси водителем. Благо он семь лет в армии шоферил.

За полгода Виталий Петрович постиг все премудрости: научился ездить на «соньке» — не включая таксометра (деньги за проезд в собственный карман), насобачился оттягивать трос спидометра — фонарик погашен, а счетчик не стучит: результат тот же — на себя вкалываем! Наблатыкался клиентов «заряжать»: оплата по

договоренности. «А куда ты денешься, голубь сизокрылый, если три часа ночи, а машины ни одной?»

Перестал стесняться «отстегивать на лапу» кому надо, от кого в эту минуту зависила его судьба таксерская; расписание прихода самолетов и поездов — как таблицу умножения вызубрил.

И полтора года пахал, как проклятый — через день по шестнадцать часов из-за баранки не вылезал. «Капусту» делал. Денежку зарабатывал.

К концу второго года в такси так ему надоела вся эта кошачка, весь этот крутеж арапский, что Виталий Петрович послал таксомоторный парк к едрене фене, рассчитался и месяца три не работал — приглядывался. Созерцал. Жизнь вообще... Себя в этой жизни. Пока деньжата были.

Кончилась денежка, и Виталий Петрович вдруг оказался в областной филармонии — ассистентом у фокусника...

Помотала его филармония от Мурманска до Кушки и от Львова до Владивостока. И это было очень хорошо, потому что Виталий Петрович страсть как не любил торчать на одном месте подолгу!

Отношения с фокусником сложились поначалу самые разлюбезные. Виталий Петрович не просто ассистировал фокуснику — он почти всю иллюзорную аппаратуру фокусника усовершенствовал. Да еще и сам пару трюков выдумал и приспособления для этих трюков своими руками сотворил.

А вот этого, оказывается, не нужно было делать! Фокусник сразу к Виталию Петровичу переменился — стал придирается по пустякам, покрикивать на Виталия Петровича. Испугался, что его ассистент ему же конкуренцию и составит — выделится в собственный номер, как когда-то сам фокусник выбился в люди.

Вот и начал поедом есть Виталия Петровича, и дошел до того, что просто-напросто обвинил его в воровстве какой-то дряни, которую сам и припрятал...

Виталий Петрович набил фокуснику морду, получил год условно, и ушел в рыболовецкий флот простым матросом на СРТ — средний рыболовецкий траулер. Ловил рыбку во всех морях и океанах без заходов в иностранные порты. Чтобы как бы чего не вышло...

По четыре, по пять месяцев в году берега не видел. И заскучал до смертной тоски. Так невмоготу ему сделалось от ежедневного гнетущего однообразия, что Виталий Петрович еле дождался конца того, последнего рейса, после которого очутился почему-то в цирке! Служащим по уходу за животными...

Месяц — один город, месяц — другой, месяц — третий...

Руководил аттракционом народный артист, фамилию которого Виталий Петрович знал с детства. Это был добрый пожилой человек, страдавший неизлечимым хроническим алкоголизмом. Все его запои начинались на пятьдесят третий, пятьдесят пятый день абсолютно трезвого суще-

ствования и продолжались не более шести—семи дней.

На эту изнурительную неделю он куда-то пропадал, словно проваливался сквозь землю. Где он бывал в эти кошмарные дни, никто из служащих аттракциона не знал.

Возвращался народный артист в цирк выбритым, пахнущим дорогим одеколоном, с набрякшим, измученным сизовато-серым лицом и трясущимися руками.

К Виталию Петровичу, как и ко всем своим остальным пяти служащим, народный артист относился очень добросердечно и внимательно. А для Виталия Петровича даже прошиб, казалось бы, непробиваемую стену — добился того, что Виталию Петровичу, несмотря на судимость, разрешили поездку с аттракционом в Чехословакию на целых три месяца.

Когда цирк возвратился из этой поездки, и все участники программы были распущены по отпускам, Виталий Петрович уехал к себе домой и там вдруг написал большой рассказ.

Спустя некоторое время рассказ напечатали.

Он написал второй рассказ. И второй напечатали!

Это Виталия Петровича совсем сбило с толку — он распрощался с цирком, сел, как говорится, на хлеб и воду и стал писателем...

Через три голодных года у Виталия Петровича в Москве вышла первая книжка. В маленьком издательском предисловии с умилением и

восторгом были перечислены все профессии, которые перепробовал Виталий Петрович в своей жизни.

Издательство было молодежным, считало своим долгом «открывать» новых авторов, пестовать их и лелеять, а иногда даже представлять к премиям. Так, за небольшую наивную повестушку об армии был премирован и Виталий Петрович. Он стал лауреатом какой-то не очень известной и странной премии и получил приглашение от одной киностудии написать сценарий по этой повести.

А дальше пошло-поехало...

За несколько лет вышли у Виталия Петровича еще две книги, на трех киностудиях были сняты три посредственных фильма по его сценариям, и Виталий Петрович сумел приобрести небольшую кооперативную квартиру на окраине своего города, а позже умудрился даже купить «запорожец». Самую первую модель.

В этакое благоденствие Виталий Петрович пребывал лет пять. Ездил по области на авторские встречи, мотался в Москву по киношным делам, готовил к выпуску четвертую книжку. Славное было время!

И вдруг словно заколодило! Ни тпру, ни ну, ни кукареку...

То ли Виталий Петрович про все, что знал, уже написал, то ли еще что с ним приключилось, но сколько бы раз он ни начинал сочинять

что-нибудь новое — ничегошеньки у него не получалось. А уж если получалось, то из рук вон плохо.

Виталий Петрович и в Дом творчества пробовал ездить — может, там обстановка подхлестнет и напишет он что-нибудь этакое... Но тщетно. Стал он тогда выпивать, чтобы расслабиться, стряхнуть с себя немоту и оцепенение...

Тоже не помогало. Правда, как только он брался выпивать, он сразу же обрастал огромным количеством приятелей, которые понимали его до самого донышка. А что еще человеку нужно?..

Изредка он тешил свое тщеславие тем, что рассказывал друзьям-литераторам свои ненаписанные рассказы. На ходу придумывал детали, новые сюжетные повороты, играл интонациями. Поначалу все только делали вид, что слушают Виталия Петровича, а потом и в самом деле начинали слушать. Слушать и разглядывать его завистливо-нежно и удивленно — вот ведь как, мол, человек может!

А потом, вкусив как аплодисменты это сладостное удивление, Виталий Петрович с тренированным вздохом говорил:

— А вот сесть написать — не могу...

И хотя это было действительно так — слышать себя ему было противно, и звучало это поактерски, неискренно.

Ах, как счастлив был бы Виталий Петрович, если бы снова смог уехать куда-нибудь! На Памир, на Камчатку, на Землю Франца-Иосифа! Не

для того, чтобы писать в спокойствии и уединении, а просто так. Уехать, и все тут.

Или пойти работать слесарем по ремонту автомобилей...

Он всегда ужасно гордился, когда ему удалось хорошо отрегулировать клапана или быстро и лихо сменить наружный подшипник переднего колеса. И в награду за отрегулированные клапана двигатель выплачивал неоценимый гонорар — он начинал мощно тянуть машину вперед, и Виталий Петрович обгонял другие автомобили с элегантно-спортивной ловкостью, первым срывался с перекрестков. А новый подшипник обещал ему свою защиту и оберегал его от аварий. Это уже никакими деньгами не измерить!..

...И денег ему теперь постоянно не хватало. Он все сам себе объяснял, что не пишет из-за отсутствия денег. Будто про них все время приходится думать, и ничего другого в голову не идет. Наполовину это было вранье, а наполовину и вправду так.

Однако, когда у него появлялись деньги, ему тоже не писалось. Все хотелось вознаградить себя за время длительного безденежья. И тогда Виталий Петрович устраивал «дым коромыслом»!

Такой, честно говоря, примитивный серенький дымок... Но это уже от лени Виталия Петровича. От неумения придумать что-нибудь интересное. От элементарной распушенности.

...Потом, когда долгожданные деньги бывали бездарно истрачены, наступало болезненное опустошение. Недомогание буквально физическое. С трудом Виталий Петрович начинал постепенно привыкать к тому, что денег опять нет. И на смену недомоганию и растерянности в него таким чертом вселялось отвратительное хвастливое возбуждение — к месту и не к месту вспоминались тысячи рублей, выброшенные псу под хвост; громко осуждались люди, у которых «всегда есть деньги», и это должно было демонстрировать окружающим широту Виталия Петровича, его неумение и нежелание «копить», его бессеребрянность, его умение вознаграждать себя за долготерпение...

К сожалению, все эти спектакли, которые Виталий Петрович обычно разыгрывал перед своими близкими и приятелями, в первую очередь были нужны ему самому, чтобы хоть на мгновение заглушить в себе рвущийся из печенки истерический крик:

— Идиот! Кретин! Ничтожество!!!

Обычно все это кончалось небольшим сердечным приступом.

Виталий Петрович уже давно многозначительно сосет валидол и так же многозначительно отмечает, что валидол уже не помогает. Он знает, что это спазм сосудов или еще чего-то. И Виталий Петрович пытается представить себе механику боли. Это он так пытлив и любознателен при любой болезни...

Если у него болит зуб, то он ясно представляет себе свой нервик, обязательно красненький, извивающийся, по-человечески раздраженный, какой-то очень нервный нервик, не слушающий ничьих увещаний и уговоров, заранее убежденный, что ему уже ничто помочь не может. И поэтому со злобным удовольствием причиняющий боль зубу, челюсти, самому Виталию Петровичу и, следовательно, всем, кто его окружает.

Когда же болит сердце, Виталий Петрович очень четко видит, как у самого входа в левый желудочек (тут он каждый раз что-то путает...) толстая мягкая трубка, по которой течет кровь в сердце, сжимается. Но не до конца. Оставляя узенький проход. И вот эта борьба подступающей крови с почти закрытым отверстием, эта толстая труба, перетянутая, как сосиска, спазмом с морщинками у сжимающего кольца — очень его пугает.

Все остальное он представляет себе значительно хуже. Он знает только то, что если это отверстие хоть на секунду закроется вовсе, то он обязательно умрет. У Виталия Петровича уже несколько приятелей и знакомых умерли именно так.

Потом все говорили:

— Это был обычный вульгарный спазм. Окажись под руками...

И дальше перечислялось: валидол, нитроглицерин, шприц, телефон, жена — словом все, чего в этот момент под руками не было.

У Виталия Петровича же сердце болит так часто, что он даже малость привык к этому состоянию и приучил себя к мысли, что если что-нибудь с ним случится, то он не успеет этого понять. Не успеет испугаться. В конце концов, не боится же Виталий Петрович ежевечернего погружения в сон. А это процесс, по его представлениям, очень похож на процесс умирания. Ну, а засыпал Виталий Петрович всегда с удовольствием. Лишь бы это был именно такой процесс...

Он-то в своей жизни видел процессы и похуже. Там никаким сном и не пахло. И если когда-нибудь он освободит себя от пояснений к киножурналам и сочинениям дикторских текстов для коротких документальных фильмов, и снова сможет писать, он напишет о том, что видел на войне, да и после, уже в мирное время... О том, что чувствовал в те мгновения, и как открывал в себе и других, остающихся в живых, неподозреваемые доселе голубые высоты и черно-коричневые глубины!..

Это будут страшные, беспощадные описания. Они потребуют всего напряжения сил, мобилизации всей честности, полного пренебрежения условностями...

Пока он к этому не готов.

Пока он пишет тексты к киножурналам и сценарии к документальным фильмам. Так как он постоянно нуждается в деньгах, он берется за все, что ему предлагают. Обычно, это — «нужная тема». Предлагают ее Виталию Петровичу, как

«единственному» автору, который сможет это сделать без осточертевшего всем барабанного треска, без чего-то там еще, и с целым рядом достоинств, присущих только Виталию Петровичу.

Это льстит. Он подписывает очередной договор, стараясь не думать, что эту тему предлагали уже многим сценаристам. И те от нее просто отказались...

А, может быть, и не так... Может быть, ее предложили только одному Виталию Петровичу, заранее зная, что другие от нее откажутся.

Так Виталий Петрович становился правофланговым в четвертой шеренге... Какое-то время он мучался от зависти к первым трем шеренгам, капризничал и пытался доказать, что даже из такого, заранее предложенного материала можно сделать штуку интересную и толковую. Дескать, все зависит от того, КТО это будет делать!

Ну, а потом, когда эта работенка заканчивалась, Виталий Петрович направо и налево выдавал давно придуманную остроту, что «из соснового полена невозможно высечь микельанджеловского Давида. Максимум — Буратино». В таких случаях коллеги вежливо поддакивали и ругали программы, установки, спецзаказы... Так сказать, бряцали кандалами на своих ловких ручках и быстрых ножках.

— Сбросить бы эти оковы современности, — восклицали он. — Вот тогда бы!..

«А что — тогда бы?..» — думал о коллегах Виталий Петрович. — «Ни к чему они были б

тогда. Им эти кандалы не мешают. Им с этими кандалами просто очень хорошо и удобно. Они их греют, питают и на плаву держат...»

И от мысли, что только он сам знает о своей непричастности к «этим», Виталию Петровичу становилось страшновато...

Вот недавно на него накричал один областной начальник. Не начальник Виталия Петровича (какой у писателя может быть начальник?), а просто — Начальник, которому показалось, что он может прикрикнуть на Виталия Петровича.

После того, как в очередной раз вскрыли, обворовали «запорожец» Виталия Петровича, он пошел в исполком узнать — когда же подойдет его очередь на гараж. Он уже несколько лет стоял в этой исполкомовской очереди.

— Чего вы шляетесь сюда по пустыкам?! Вы что думаете, мы только вашими гаражами занимаемся?! Нечего сюда ходить! Подойдет очередь — вызовем!.. — громко прокричал начальник коммунального отдела.

— Почему вы позволяете себе разговаривать таким тоном? — задыхнувшись, спросил его Виталий Петрович.

И услышал в ответ:

— А ну, быстренько, закройте дверь с той стороны! Или мне милиционера вызвать?

Виталий Петрович сунул таблетку валидола под язык и пошел жаловаться. Но и председатель исполкома, и все его заместители были на совещании, и Виталию Петровичу ничего не остава-

лось делать, как неотомщенному и обруганному пойти домой.

По дороге он несколько раз вспоминал лицо этого начальника, его голос, и каждый раз Виталия Петровича передергивало от омерзения и униженности. Он клялся себе завтра же написать, пойти, объявить, призвать к ответу...

Но знал, что завтра он этого уже не сделает, что ни одна его угроза еще никого в жизни не испугала, потому что он ничего до конца в жизни не доделывает...

И еще. Тошно в этом самому себе признаваться каждый раз, но...

Вот ведь гадость-то! Он закончил службу в армии черт знает когда — в начале пятидесятых, а до сих пор ловит себя на том, что любой командный тон, от кого бы он ни исходил, подавляет его. Вызывает гнусное желание в чем-то оправдаться, чем-то доказать свою невиновность.

Но самое противное, что у Виталия Петровича в таких ситуациях сразу возникало стыдненькое желание: чтобы человек, который по каким-то причинам командно говорит, стал бы говорить с ним, Виталием Петровичем (именно с ним, в силу какой-то самому ему неизвестной его исключительности), запросто. И когда такое происходило, Виталию Петровичу это отвратительно льстило, и он незаметно начинал подлаживаться к такому человеку. Незаметно для него и до отвращения заметно для самого себя. Самое ужасное, думал Виталий Петрович, что если

этот человек не полный болван — то и ему это заметно. Тогда становилось совсем худо...

Но в таком постыдном состоянии Виталий Петрович обычно пребывал до определенного момента. Точнее — до НЕопределенного момента.

Действительно, Виталий Петрович и сам никогда не мог определить то мгновение, когда ему становилось вдруг на все наплевать, и он безобразно, стихийно начинал сопротивляться любой попытке разговаривать с ним командно!

Причем, подавленность у него вовсе не проходила. Высвобождения не наступало. Происходило просто извержение бешеной, ненаправленной ярости, никого не пугающей, а только еще больше раздражающей людей против Виталия Петровича. В такие минуты он выкрикивал страшные слова не одному Ему, вызвавшему эту сладостную вспышку отчаяния и злобы, а тысячам, сотням тысяч, которые почему-то говорят КОМАНДНО и имеют право ставить людям оценки за их поведение...

С ним так бывало и в армии. Тогда его просто сажали на гауптвахту. Сейчас все сложнее и противней. Виталий Петрович частенько подумывал о том, что если бы он не служил в армии больше семи лет — он теперь был бы во многом спокойнее и свободней. Раскрепощенней во всем: дома, в делах, в отношениях с женщинами, с приятелями, ну, и конечно, с теми, кто говорит КОМАНДНО!

Он не знал — испытывают ли то же самое все, кто когда-либо служил в армии, но он готов

был поручиться за то, что все, кто НЕ служил в армии, этого, к счастью, никогда не испытывали. Если, конечно, это не патологическое желание быть «подчиненным». Где-то он читал, что существует такая несимпатичная аномалия. Кажется, она имеет какую-то грязноватую болезненную основу.

Он даже хотел об этом написать, но потом подумал, что это может прозвучать изрядно вымученным, а он все еще непонятно чем зажат и написал бы не так, как нужно. И дал себе слово обязательно вернуться к этому. Потому что, если ему, видимо, уже никогда не удастся избавиться от такого унижительного состояния, то написав об этом точно, глубоко и толково, он будет чувствовать себя хоть на время освобожденным от страха перед людьми, которые почему-то имеют право разговаривать КОМАНДНО...

У Виталия Петровича вообще в заглавнике была уйма всяческих сюжетцев, которые сами просились на бумагу! А уж ситуаций разных, прямо из жизни — не счесть...

Вот, например: несколько лет тому назад с Виталием Петровичем произошел дурацкий случай. Он все хотел написать о нем рассказ, а потом плюнул, что-то записал для памяти, а до рассказа так дело и не дошло. А произошло вот что...

В низочке одной интуристовской гостиницы был когда-то восточный буфет. И Виталий Петрович повадился туда есть чанахи. Там познакомился с одним писателем-малоформистом. Тот тоже туда ходил за чанахами. Виталий Пет-

рович несколько раз обедал с ним, изредка встречал его на улицах и знал о нем только то, что его зовут Сережа и что он пишет для эстрады.

А через некоторое время услышал, что повесился один эстрадный писатель — Сергей ... (Виталий Петрович уже не помнил фамилии...) и фотография умершего висит в коридоре Госконцерта.

Он очень ясно представил себе лицо Сережи на фотографии с черной рамкой и стал думать про его жизнь, которой совсем не знал, и про его смерть, которая почему-то не была неожиданной для Виталия Петровича. И все искал какие-то туманные связи и, в конце концов, кажется, даже нашел причины для сережиного самоубийства.

Конечно, он все это себе напридумывал, но напридумав — разнервничался, будто потерял близкого человека.

Через неделю Виталий Петрович выходил из табачного магазина и нос к носу столкнулся с Сережей — писателей-малоформистом, с которым пару раз обедал в восточном буфете и встречался раза три на улицах. К смерти которого уже привык.

Сережа что-то болтал про горлит и охрану авторских прав. И хоть Виталий Петрович и понял, что все эти дни ошибался, думая, что погиб именно этот Сережа — радости он никакой не испытал, чего-то испугался и разговаривал с Сережей не так как всегда, а тревожно и скованно. Все ждал, что произойдет какое-нибудь чудо...

Он и по сей день встречается Сережу именно в управлении по охране авторских прав. Сережа сильно постарел и слинял. Пьет много. Виталия Петровича считает своим старым приятелем и рассказывает всем окружающим, что познакомился с Виталием Петровичем в низочке интуристовской гостиницы еще тогда, когда там был восточный буфет.

А Виталий Петрович... Вот ведь дурацкое состояние! Виталий Петрович до сих пор сторонится его, будто Сережа и впрямь вернулся из небытия, с того света, да еще и сумел сделать так, что об этом все забыли. Кроме Виталия Петровича. Вроде бы Виталий Петрович знает эту его тайну и боится, что Сережа об этом проведает... Прямо мистика какая-то!..

После долгого перерыва Виталий Петрович выступал по телевидению.

За столом в студии сидел его давний приятель, поэт — руководитель всех узаконенных писателей города, и старый литератор, о котором поэт сказал, что старик сочетает в себе достоинства писателя с талантом педагога. Виталий Петрович подумал и решил про себя, что такое сочетание по меньшей мере жутковато. Но не в этом суть...

Когда ему позвонили и сказали, что он приглашен в литературную передачу, он ужасно возгордился. И обрадовался.

«А вдруг это тот самый поворотный момент, после которого жизнь пойдет совсем-совсем иначе?!» — думал Виталий Петрович. — «Вдруг это растормошит меня... Ведь нужен же я кому-то, черт подери! Не нужен был бы — не приглашали бы...»

Его будто подменили. Он то и дело небрежно ронял:

— Только не одиннадцатого. Одиннадцатого у меня передача...

Или:

— К сожалению, я занят десятого и одиннадцатого. Десятого у меня «тракт» — это значит, репетиция, а одиннадцатого — передача...

Было у Виталия Петровича еще несколько вариантов, которыми он широко пользовался. Они были добродушно-ироничны к себе, и звучали с легким издевательством к студии телевидения. Короче говоря, его хвастовство было чрезвычайно симпатично и почти не походило на хвастовство. Он ни разу не переиграл и, как выяснилось впоследствии, все, кому он тем или иным способом сообщил о передаче — смотрели ее и слушали.

Но это было уже потом. При подготовке же к передаче Виталия Петровича совершенно измучил добрый и милый паренек — редактор студии телевидения. Он перечитал все, что Виталий Петрович сумел написать, и так и не смог выбрать ни одной строчки, которую можно было бы предоставить на суд товарищей телезрителей.

Он-то вкручивал Виталию Петровичу, что готов дать в эфир буквально все, но... Шесть минут, шесть минут, и ни секунды больше! А у Виталия Петровича на шесть минут ничего не было. И вообще ему показалось, что юному редактору ужасно не понравились его рассказы и повести. И Виталий Петрович сильно огорчился...

В их третью встречу он даже несколько раз поймал на себе взгляд паренька-редактора — внимательный, исполненный презрительного и гадливого любопытства. При этом молоденький редактор умудрялся сохранять суетливо-вежливый вид, и с легкостью кошки предавал свое телевизионное начальство, стараясь показать, что уж кто-кто, а он с Виталием Петровичем — по одну сторону баррикады.

На четвертую встречу он прибыл с явным желанием отомстить Виталию Петровичу за все!

За то, что он моложе Виталия Петровича в два раза; за то, что пишет он лучше, чем Виталий Петрович, а его не печатают; за то, что первые две встречи с ним проходили на киностудии, где снималась коротенькая одночастевка по сценарию Виталия Петровича, а не по его сценарию; а уже третья встреча — в буфете местного отделения Союза писателей, куда юному редактору телевидения смерть как хотелось бы ходить запросто и по-свойски...

За свои промокшие ботинки, за очки, которыми его еще совсем недавно дразнили в школе, а Виталий Петрович — старая сволочь! — до сих пор не носит...

За то, что ему, честному и талантливому трудяге приходится иметь дело вот с такими ловкими козлами, как этот Виталий Петрович!..

За все то благополучие, которое он придумал Виталию Петровичу, и которого у него самого нету.

И он отомстил! Он пришел на четвертую встречу сморкающийся, простуженный, простреленный сырым трамвайным холодом, и сказал:

— Вы уж извините, что так получилось, но наш шеф... Наш шеф сказал, что вам не стоит читать в кадре. Будто вас как писателя почти никто не знает, и нет смысла читать разные отрывки... Лучше вам рассказать что-нибудь из своей биографии. Или, предположим,— что привело вас в литературу...

«...и лучше выдумать не мог»!!!

Да, этот мальчик положительно не ведал силы своего удара...

Мало того, он принес собственноручно написанный текст выступления ровно на шесть минут, который Виталий Петрович должен был выучить наизусть и прочесть от своего имени.

Дома Виталий Петрович прочитал этот текст и твердо решил воспротивиться жестокому мальчику.

— Черта с два я буду читать твой текст! — бормотал он в ярости.— Черта с два!..

Но для того, чтобы выполнить свою угрозу, нужно было, по меньшей мере, написать соб-

ственный текст. И Виталий Петрович впервые за долгое время сел за пишущую машинку.

Он сел за машинку и спустя сорок минут понял, что сочинить ничего не может. Во-первых, потому что он все время думал о впечатлении, которое должен произвести на знакомых, так прекрасно подготовленных к его выступлению. А во-вторых, потому что ему самому до зубной боли обрыдла его «яркая биография»!..

Его биографию уже столько лет пихают во все дырки, как только о нем заходит речь. Она и «интересная», и «разносторонняя», и еще черт знает какая, и такую биографию, ну просто грех не вспомнить, у кого такой биографии нет!

Виталий Петрович уже и сам раз пятьдесят выступал перед читателями со своей биографией. Его от нее уже давно тошнит. Он ею обожрался, как говорится, «по самое некуда». И ведь никто не хочет пошевелить мозгами и сообразить, что человек, обладающий такой биографией (чтоб ее!), должен быть очень несчастным... Потому что нет ничего более противного и несостоятельного, чем разносторонний дилетантизм. Виталий Петрович ведь до сих пор с величайшим напряжением открывает для себя крохотные «американки», и в муках постигает то, что мальчик-редактор просто усвоил из лекций еще на втором курсе университета...

Итак: Виталий Петрович сидит за машинкой — текста нет, а сам он, оказывается, уже давно думает, где бы достать хоть немного денег, чтобы вернуть долг одному знакомому ху-

дожнику и дотянуть до выплаты аванса на студии научно-популярных фильмов.

Стоп! Стоп!.. Нужен текст! Нужен милый, раскованный шестиминутный текстик, из которого было бы ясно и ежу, какой Виталий Петрович обаятельный, талантливый, как он умеет подмечать то, мимо чего другие проходят, даже не пошевелив бровью, и какая же у него интересная, яркая и увлекательная биография...

У-у-у, стерва, эта биография! Так и прет, так и лезет!.. Никакой биографии!!!

Значит, так. Нужен текст. Нужны три машинописные странички... Ну, что за мерзавцы на этом телевидении? Ну, почему они не дают ему прочесть хоть маленький отрывочек из повести? И текста никакого не нужно было бы...

И все-таки текст он написал. Не на три, а на полторы странички, но написал. Он разыскал один журнал пятилетней давности, где было напечатано интервью с ним и несколькими, так называемыми, «интересными людьми». Молодежные журналы обожали эту рубрику.

Он вспомнил, что в тот день мотался по всей Москве, нигде не успел перекусить и примчался прямо в редакцию этого журнала тогда, когда все собравшиеся уже сидели за круглым столом и в поте лица своего вели «непринужденную» беседу.

На столе стоял коньяк, минеральная вода и чудесные маленькие апельсинчики с кроваво-красной мякотью. Коньяк пился под девизом:

«Все люди — братья, а уж редакторы и литераторы — тем более».

Однако, братья-редакторы видимо твердо помнили установку Главного: «Непринужденность, непринужденность и непринужденность...» — и поэтому почти ничего не пили, чтобы встреча, упаси Бог, не получила какого-нибудь другого направления. А братья-писатели пили какими-то птичьими порциями, чтобы не ляпнуть чего лишнего.

Голодный и измученный Виталий Петрович не сразу разобрался в обстановке и навалился на апельсинчики с коньяком. Потом выпил чашечку кофе и снова немного попил коньяк. И закусил апельсинчиком. А уж апельсинчик запил коньяком...

От этого он совсем перестал хотеть есть и стал разглядывать одну младшую редактрисочку, которая поняла установку Главного впрямую и стала так закидывать ногу за ногу, что на несколько минут у всех мужчин сел голос.

Но Главный редактор, к сожалению, это заметил и сделал почти неуловимое движение двумя пальцами. И буквально через секундочку кто-то из-за двери попросил на минуточку эту редактрисочку. И ко всем вернулась непринужденность. И все стали давать интервью...

Вот это интервью Виталий Петрович и перекатал из того журнала. Не целиком, конечно, со значительными купюрами и незначительными добавлениями — но перекатал. Оно было как раз для телевидения.

Виталий Петрович твердо помнил, что был тогда не очень трезв, когда давал это интервью, — (тоже мне, закуска — апельсинчики!) и очень непринужден. А телевидение хлебом не корми, а непринужденность — вынь да положь! Так что с этим у Виталия Петровича было все в порядке.

Так ему и на репетиции сказали:

— Очень хорошо! Очень непринужденно!.. Но вот про это говорить не нужно, а про это упоминать не стоит — сейчас это не ко времени, как вы сами понимаете... И фамилии эти называть не к чему. А так, все очень хорошо и непринужденно!

Кроме всего, оказалось, что Виталию Петровичу отпущено не шесть минут, а восемь. Что резко повысило у него настроение. Понравился ему и режиссер передачи — круглолицый говорливый человек. Он был похож на веселого санаторного культработника, у которого есть друг шеф-повар, а есть и друг — замминистра. Он и вас может в два счета сделать своим другом. Вы и глазом моргнуть не успеете, как начнете нуждаться в нем. И хотя его болтливость будет постоянно вас раздражать, вы и дня не сможете прожить без его болтовни. Вот такой он человек.

На передачу Виталий Петрович пришел в прекрасной замшевой курточке из свиной кожи. Помнится, в Варшаве, в шестьдесят девятом году эта курточка слопала у Виталия Петровича все деньги, полученные им за издание его повести на польском языке. Повесть была небольшой, но Виталию Петровичу казалось, что денег должно

было хватить и еще на что-нибудь. Но то ли в то время там переводные повести были не в цене, то ли замшевые курточки дороговаты, но за это замшевое чудо пришлось доплатить из других денег. И эту курточку Виталий Петрович безмерно любил...

... Он сидел в своей прекрасной замшевой курточке за жидким телестолоиком, а две телекамеры глазами сорока приятелей и, Бог знает, какого количества телезрителей (говорили, что передача «идет на Союз») разглядывали его в упор. Виталий Петрович с трудом сдерживал нервную дрожь и думал — достаточно ли непринужденно он выглядит?..

Уже в самом начале передачи произошла маленькая накладка. Поэт очень тепло представил Виталия Петровича, вкратце коснувшись его яркой биографии (чтоб она лопнула!) и сделал Виталию Петровичу приглашающий жест рукой. В полной растерянности Виталий Петрович тупо решил пожать ему руку. Но поэт вовремя отдернул ладонь, и Виталию Петровичу ничего не оставалось, как своей рукой-сироткой сделать такую миленькую глиссаду и начать говорить.

Между ним и поэтом лежали часы и Виталий Петрович честно поглядывал на них, чтобы не перебрать отпущенной ему тележизни. К третьей минуте он разговорился. С его точки зрения он блистательно играл и непринужденно, и оживленно, и непосредственно — все, что так необходимо телевидению...

Вдруг, на шестой минуте, рядом с камерой появилось некое анемичное существо лет девят-

надцати, с наушниками на голове и какой-то радиохреновинкой на впалой грудке. Пронзительно глядя на Виталия Петровича, существо скрестило лапки над головой, и Виталий Петрович понял, что нужно заткнуться.

И заткнулся, успев сказать только финальную фразу своего выступления, которая теперь абсолютно не вязалась со всем тем, о чем он говорил на протяжении пяти с половиной минут. Тем не менее, опытный в таких передачах поэт трогательно поблагодарил его и предоставил слово старому писателю-педагогу.

Оставаясь в кадре, Виталий Петрович чувствовал себя так, словно у него реквизировали родовое имение. Но не выгнали оттуда совсем, а оставили при имении в должности дворника: мгновенно слетели все заботы, диапазон функций снизился до минимума, дышать стало в десять раз вольготнее, но гордость была поправа, самолюбие уязвлено, и жить больше не хотелось.

Когда же передача окончилась и все вышли в коридор, из аппаратной спустился режиссер-говорун и сказал, что все было прекрасно, все было непринужденно, а лично Виталию Петровичу нужно было наплевать на безгрудую помрежуху и говорить весь свой текст полностью. Потому что все равно «двух минут не добрали»... И вообще, он будет счастлив провести с ними как-нибудь еще одну такую передачу.

В это время около них появился низкорослый человек в длинном драповом пальто с серым каракулевым воротником и в такой же серой ка-

ракулевой шапке. Он снял шапку и привычным жестом уложил редкие потные волосики слева направо. Он даже не уложил их, а как-то пригладил, приклеив.

— Ну, как? — спросил этого человека режиссер.— По-моему, все прекрасно! Вы знакомы, товарищи?

Человек с каракулями вяло пожал всем руки и представился. Это и оказался тот самый телевизионный «шеф».

— Чего же там «прекрасного»? — кисло сказал он режиссеру.— Вы, что же, не предупредили товарищей о внешнем облике на телевизионной передаче? Вот, например, товарищ... — Он показал на Виталия Петровича. — Товарищ выглядел в кадре так, словно только что из-под автомобиля вылез.

— Позвольте,— растерянно сказал поэт, руководитель областных писателей. — Это прекрасная модная куртка...

— Я не знаю, что у вас там «модное»,— презрительно прервал его каракуль.— Среди художников там, или артистов, может, и модно ходить в таких, извините, штуках... Нравы, как говорится, в ваших кругах свободные...

И он вдруг рассмеялся. И Виталий Петрович понял, что рассмеялся он только для того, чтобы не расплескать весь свой гнев, все свое презрение, клокотавшее в его душе и раздиравшее его мозг. Гнев, ненависть и презрение к этим щелкоперам с их никчемными, смутными делишками, которым он вынужден предоставлять дра-

гоценнейшее эфирное время на болтовню. Эх, его бы воля!..

Он смеялся, а у него от ненависти к Виталию Петровичу и его, действительно, потертой замшевой курточке подрагивали нижние веки и белели твердые складки у рта.

«Ах, какой сильный и страшный человек!» — думал Виталий Петрович. — «И на каракуль он имеет больше права, чем кто бы то ни было. Потому, что он — искренен. Наверное, если бы ему разрешили поставить меня к стенке за эту замшевую курточку и расстегнутый воротничок, он ловко и споро отправил бы меня на тот свет, а потом дома лег бы в кровать и, справив унылый супружеский обряд, счастливо заснул бы с сознанием исполненного долга...»

...Потом, уже сидя в стареньком «запорожце» Виталия Петровича и медленно плетясь сквозь грязную снеговую слякоть за широкой троллейбусной спиной, все трое растерянно острились, а старый писатель тяжело вздыхал и очень просил поэта «этого так не оставить».

Поэт что-то туманно обещал и грустно поглядывал по сторонам.

А Виталий Петрович вел машину тихо и осторожно, словно сел за руль после долгой и тяжелой болезни...

ГОСПОДИ, КАК ЖЕ ДАВНО ЭТО БЫЛО!..

Рассказы



ШАЛАШ

Когда-то я все хотел написать про это рассказ, но трусил. То есть, не трусил, а просто отчетливо понимал, что его ни за что не напечатают. А так как я уже к тому времени достаточно удачно работал в кинематографе — писал сценарии, то сочинять какой-то там рассказик «в стол» мне было не с руки.

Теперь же, когда прошло очень много лет и порядком поисписался, и мне все труднее и труднее выдумывать что-то новое, я стал лениво рыться в своей уже слабеющей памяти и с трудом выкапывать оттуда разные сюжетцы и случаи, сочиненные мною в той, прошлой жизни, или действительно когда произошедшие со мной или моими знакомыми.

Вовке — моему сыну, исполнилось тогда всего семь лет...

Представляете себе, как это было давно, если сейчас ему сорок два? И если этот рассказик

прочтут или услышат люди примерно моего возраста, может быть, они припомнят, из чего складывалась их собственная бывшая жизнь и, вероятно, посочувствуют моему сыну — маленькому Вовке и его приятелю — крохотному, худенькому армянскому мальчику с тяжелым булыжно-набатным именем — Гурген.

Вовка и Гурген учились в первом классе и в один из выходных майских дней я решил устроить им поездку за город. Несмотря на всю неверность моего сценаристского бытия — то густо, то пусто,— я был обладателем старой и раздолбанной «Победы», на которой нахально разъезжал по всему Ленинграду и его окрестностям, а иногда даже мотался на ней в Москву и Прибалтику.

После неожиданного увольнения из армии и еще более неожиданного отказа принять меня — военного летчика с серьезным и солидным налетом часов — в систему Гражданского воздушного флота, я, чтобы не спиться от обиды и сознания собственной никчемности, пошел работать в такси, обычным шоферюгой. Там же, в своем родном втором таксомоторном парке, за совершенно символическую плату я и приобрел этот механический полутруп автомобиля «Победа», это списанное страшилище, готовое спокойно умереть естественной смертью от изношенности и усталости. Так что Вовка родился уже при автомобиле...

На то время, когда ему стукнуло семь лет, а мне тридцать пять, за нашей «Победой» тянулся

шлейф пробега почти в полмиллиона километров! И тем не менее...

И тем не менее, мы с маленьким Вовкой и его крохотным приятелем Гургеном могли в тот воскресный день поехать на этой «Победе» куда угодно — в Петергоф, в Гатчину, в Царское село...

— В Разлив, — строго сказал Вовка.

— В шалаш... — прошелестел армянский мальчик Гурген.

— К дедушке Ленину, — сурово добавил Вовка.

— Нам задано... — еле слышно прошептал Гурген.

К «шалашу Ленина» ехать не хотелось смертельно! Накануне там открылся новый грандиозный и уродливый Ленинский гранитный комплекс, и наши власти обязали «Интурист» возить туда всех иностранцев, посещавших Ленинград. Я как-то ехал в Разлив — посмотреть на это седьмое чудо партийно-политического света. Стоянка автомобилей была забита черными «Волгами» и интуристовскими автобусами; дорожки, выложенные мраморными плитками, вели к какому-то чудовищному сооружению из розового гранита величиною с самолетный ангар, отдаленно напоминающий жилище Гулливера в стране лилипутов.

Нет, в Разлив мне совершенно не хотелось ехать!..

Я представил себе, что нашу «Победу» придется оставлять черт знает где, а потом пешком

топать до этого дурацкого каменного «Шалаша»-гиганта, продираться сквозь тоскливые толпы туристов и гидов-переводчиков, воспевающих это эпохальное местечко на всех языках планеты...

Представил себе, как я жалким и заискивающим голосом вымаливаю у дежурных милиционеров разрешение пройти с детьми туда-то и туда-то, куда пускают только в так называемом «организованном порядке»... И ужас охватил все мое утренне-воскресное существо:

— Кем ЭТО вам задано?!.— в отчаянии заорал я.

Но ни мой полуеврейский Вовка, ни чистокровный армянский Гургенчик не испугались моего рыка. Чутким детским ухом они расслышали в моем грозном крике бессилие и обреченность, а посему храбро и твердо заявили:

— Марина Васильевна сказала, что мы все обязаны там побывать, а потом на уроке рассказать про наши чувства к дедушке Ленину.

Марина Васильевна — классная руководительница Вовки и Гургенчика — была очень даже сексопильной дамочкой, откровенно строила мне глазки на родительских собраниях, и я все ждал случая, чтобы захороводить эту Марину Васильевну в свою койку.

— Папочка, мы сейчас поедem в Разлив. В шалаш,— безапелляционно заявил Вовка, будто «папочкой» был он, а его семилетним сыном — я.

— В шалаш «дедушки Ленина»,— тихо уточнил маленький Гургенчик.

«Ну, я это тебе припомню, стерва!..» — мысленно пригрозил я Марине Васильевне. В то время мне еще даже очень было — чем грозить!

Все — как и ожидалось... Хорошо еще, что удалось приткнуть машину неподалеку от Разлива, загнав ее в жидкие прибрежные кусты.

Неимоверное количество свезенных сюда людей грустными толпами слонялись по вылизанному «ленинскому комплексу».

Несчастные Вовка и Гургенчик растерянно разглядывали высоченное гранитное убожество, изображавшее «ПАМЯТНИК ШАЛАШУ ЛЕНИНА».

— А в книге для чтения другой шалаш нарисован... Настоящий,— прошептал крохотный Гургенчик, а у Вовки задрожал подбородок.

Ах, как заныло у меня сердце!.. Как безумно стало жалко этих двух маленьких семилетних человечков, уже замордованных обязательным и взрослым враньем.

И вдруг!..

Ну, прямо луч света в темном царстве... Неожиданно, метрах в тридцати от главной мраморной аллеи я увидел настоящий шалашик, сплетенный из сухих веток и огороженный позолоченным канатиком на четырех невысоких золотых столбиках!

Рядом была врыта зеленая палочка с табличкой, на которой, вероятно, была запечатлена мифическая история этого скромного убежища,

давшего миру сотни тысяч статей и очерков, новелл и ораторий, од, саг и романов! А уж стихов, посвященных этому шалашу, было не меньше миллиона тонно-километров...

Я понимал, что каждую весну к открытию музейного сезона этот «шалаш» сооружается руками полупьяных работяг Сестрорецкой районной садово-парковой службы. И глубокой осенью, при закрытии комплекса на зиму, сжигается вместе с пожухлыми опавшими листьями. А следующей весной строится заново...

И все-таки это было хоть и жалкое, но какое-то подобие подлинности! Вовке и Гургенчику знать это было совершенно ни к чему, и я тут же устроил маленький спектакль: я всплеснул руками и негромко прокричал фальшиво и радостно:

— Есть!.. Есть шалашик вашего Ленина! Смотрите...

Боже мой, какой восторг вспыхнул в глазах моих юных и верных ленинцев!.. Может быть, только ради такого мгновения и стоило ехать в этот кретинский Разлив, к этому уродливому и лживому полит-просвет-комплексу!?

Вовка и Гургенчик сорвались с места и понеслись к шалашу.

— Подождите! Подождите!.. — безуспешно вопил я.

Я же знал, что здесь запрещено все: перелезать через ограждения, что-то трогать руками, ходить по газонам, курить, и даже громко разговаривать. За этим тщательно следили молодень-

кие милиционеры и пожилые сотрудники Ленинского комплекса из отставников.

Я догнал их у самого золотого ограждения. Своего я схватил за шиворот, а Гургенчика за штанишки. У него шиворота не было — только майка.

— За ограду — нельзя! — прошипел я и трусливо оглянулся — не наблюдает ли за нами кто-нибудь, кому это положено.

Неподалеку прохаживался сержант милиции. Я следил за ним, как пугливая лань за голодной львицей.

А мои рвались у меня из рук и умоляли:

— Папочка!.. Папочка!.. Ну, можно туда хоть на секундочку?!

— Вы, что, с ума сошли?! — пытался я их удержать.

— Ну, пожалуйста, дядя Вова!.. — взвизгивал Гургенчик.

— Только на секундочку...

— Ну полсекундочки!.. — пацаны мои совсем осатанели.

На мгновение я представил себе их Марину Васильевну в своей койке и это придало мне мужества. Я заметил, что сержант милиции отвернулся и пошел к Главному зданию. И тогда я сказал:

— Только по моей команде. И не больше трех секунд. Сделайте вид, что читаете табличку. Понятно? Исходное положение принять!

Пацаны бухнулись на колени перед табличкой, как перед иконой Божьей матери. Я еще раз

огляделся, убедился, что никто не смотрит в нашу сторону и отчаянно скомандовал:

— Пошел!!!

Будто две маленькие собачонки Вовка и Гургенчик молниеносно юркнули в «ленинский» шалаш.

На мгновение наступила тишина, затем там внутри кто-то ойкнул, послышалась суетливая возня, из шалаша полетели скомканые обрывки газет, ссохшиеся ивовые веточки, и тут же на свет божий вынырнули две мальчишечьи головы.

Они были поразительно похожи на двух небольших пёсиков, наполовину высунувшихся из конуры. Лежа по пояс в шалаше, они опирались на выпрямленные руки, словно щенки на передние лапы, в их глазах был ужас, на мордочках растерянность, граничащая с трагическим потрясением...

— Папочка-а-а... — срывающимся голосом в панике прокричал Вовка. — Папочка!!! Там... Там!.. Там НАКАКАНО!!!

Я был жесток с ними, как царь Ирод!

Я раздел их догола, загнал в холодную воду Разлива, залез туда сам и добрых полчаса отмывал от дерьма этих двух верных ленинцев губкой, которой обычно протирал стекла у своей «Победы».

Когда юные ленинцы стали сизо-голубого цвета от холода и перестали исторгать запах загаженного вокзального сортира с несмытыми гор-

шками, я насухо растер их старой автомобильной ветошью, завел двигатель, врубил на полную мощность обогреватель, завернул ленинцев в брезентовый чехол, которым изредка покрывал свою «Победу», и запихнул их в машину — отогреться. А сам взялся стирать их штанишки, трусики, майку и рубашку. Мощной санитарной обработке пришлось подвергнуть и обувь моих славных октябрят, так удачно побывавших в убежище вождя революции.

Потом я расстелил на горячем капоте нашей «Победы» все их бельишко, зашел в кусты, отжал собственные трусы и надел брюки прямо на голое тело.

Когда шмоточки подсохли, я побросал их в машину, сел за руль, и мы покатали по Приморскому шоссе домой, в Ленинград.

Упакованные в брезент ленинцы сидели сзади меня и вели себя тихо, как две обгадившиеся мышки. Только изредка я слышал из-за спинки своего сиденья шепот то одного, то другого. Вовка настаивал на том, что ЭТО сделал сам хозяин шалаша, а разумный Гургенчик резонно возражал, утверждая, что тогда ЭТО было бы засохшим. Может быть, даже окаменевшим. А ОНО было совсем свежим...

И вообще, что они теперь скажут Марине Васильевне?..

Мне это было тоже достаточно интересным, но я решил не вмешиваться. В конце концов, это их дело.

Но вот, что забавно: казалось бы, историйка, не имеющая никакого отношения к естественным половым устремлениям молодого, здорового, тридцатипятилетнего мужика. А вот, поди ж ты — из-за этой поездки в Разлив Марина Васильевна для меня разом утратила свою сексуальную привлекательность, и мне напрочь захотелось когда-либо увидеть ее в собственной койке.

Странно, правда? Казалось бы — никакой связи...

ПАРТНЕРЫ

Сейчас это уже никому не интересно. Сейчас упоминание о миллионах умерщвленных во Второй мировой войне, в российских лагерях и немецких печах Освенцима уместны только в печально-торжественные юбилеи этих пирровых побед над Человечеством.

Сегодня эти юбилеи более торжественны, чем печальны, и зачастую превращаются просто в некое подобие эстрады, с которой случайные и временные правители читают по бумажке печально-торжественные слова...

Другое дело, когда речь идет о конкретном человеке, сгинувшем в этом чудовищном мутном водовороте. И не в праздник, не с эстрады, а так — в будни, к слову, и без всяких торжественных ноток, просто печально. Или даже весело. Но с любовью. Самым обычным тоном — под рюмку водки. Или без.

Но у нас с этим стариком была водка. Хороший рябиновый «Яржимбьяк».

— Хотите я вам расскажу про Аарона Кана? — спросил старик.

— А кто это? — вежливо поинтересовался я.

Старик отхлебнул «Яржимбьяк» и поднял блекло-голубые глаза:

— До войны это был мой партнер. Велофигурист. Гений цирка...

Мы сидели со стариком в Варшаве, на Краковском пшедместье, в небольшой и уютной кнайпе, пили «Яржимбьяк», и я смотрел на этого старика и пытался представить себя таким же — восьмидесятилетним, с такими же выцветшими глазами. К сожалению, мне это хорошо удавалось. Оставалось всего пятнадцать лет...

— Ну, слушайте. Может быть, вам это когда-нибудь пригодится. Для какой-нибудь книги или для фильма... В конце июня сорок четвертого Аарон Кан попал в немецкий офицерский лагерь для военнопленных англичан совершенно случайно. Во-первых, он никогда не был офицером. Во-вторых, он не был англичанином. Он был чистокровный еврей, родившийся в Англии, в хорошей патриархальной еврейской семье. Мало того. Еще совсем недавно Аарон Кан даже не помышлял о службе в армии Соединенного королевства Великобритании.

За полгода до войны он купил небольшой домик в Бриккет-Вуде, в графстве Хертфордшир, от которого было рукой подать до Лондона. Наиболее ценной частью своей недвижимости Кан

считал сад. После стольких лет мытарства по гостиницам больших городов — садик в Бриккет-Вуде наполнял бродяжью душу Аарона Кана умилением и гордостью. Никто не сможет в полной мере ощутить счастье оседлой жизни или хотя бы чувство собственной крыши, как вечно кочующее племя цирковых артистов.

А Аарон Кан был именно цирковым велофигуристом! Правда, сказать про Аарона Кана «велофигурист» — значит не сказать о нем ничего.

Номер наш назывался, прямо скажем, незатейливо: «Велофигуристы Brent и Аарон Кан». «Brent» — это были я и моя жена Маргарет... Всю первую, как говорят, классическую, половину номера вели мы с Маргарет. Работа у нас была «не ах!», но и не стыдная. Мы чистенько исполняли свою трюки, но в самом конце нашего выступления на арене появлялся загримированный Аарон Кан — толстый, обросший, чуточку нетрезвый бродяга, в фантастически рваном одеянии. И вдруг выяснялось, что это звероподобное существо невероятно застенчиво и еще более любопытно. Бродягу как магнитом тянуло к якобы «забытому» нами велосипеду. Преодолев смущение и робость, он поднимал велосипед, и велосипед начинал вести себя, как живой! Он не хотел подчиняться бродяге. Если Маргарет и я делали обычные и средние трюки, то бродяга Кан трюков вообще не делал. Он просто пытался сесть на упрямый велосипед. Но так смешно, стыдливо и неловко, что теперь

зрители сопровождали все его соло гомерическим хохотом!

К чести Аарона нужно сказать, что он не пользовался ни одним откровенно буффонадным приемом традиционно-глуповатой английской клоунады. Его исполнение было сродни умному и тонкому кинематографу. Малейшие детали рождали блистательные комедийные ситуации, и отражением их была мягкая, лаконичная, первоклассная актерская игра Аарона Кана...

Но заканчивал номер Кан одним-единственным трюком: в борьбе с непокорным велосипедом он «случайно» оказывался стоящим на голове в седле велосипеда и, не держась ни за что руками, вверх тормашками объезжал вокруг всю арену. Это был «высший пилотаж» циркового профессионализма мирового уровня! И если попытаться втиснуть имя Аарона Кана в список великих англичан, то он по праву мог бы занять строку, по меньшей мере, между Джеймсом Уаттом и Чарльзом Диккенсом.

Мы объехали с этим номером половину земного шара, работали во всех цирках Старого и Нового Света, и Аарон Кан честно заслужил право на собственный домик в графстве Хертфордшир. В связи с войной гастроли за границей были сведены к нулю и мы разъезжали со своим номером по родной Англии, каждый раз с наслаждением возвращаясь — мы с Маргарет в Лондон, а Аарон Кан в свой домик в Бриккет-Вуде...

В апреле сорок четвертого, когда весть об окружении и гибели гитлеровской армии на Волге стала уже достоянием истории, мы поехали с Аароном в ЭЭНЭСА — «Ассоциацию артистов национальной армии» к нашему общему приятелю Бобу Лекардо. Боб возглавлял отдел эстрады и цирка. Мы тут же были включены в весеннее двухнедельное турне по военным лагерям, аэродромам и военно-морским базам.

После этой поездки мы получили пятидневную передышку и Аарон Кан вернулся в свой Бриккет-Вуд. Он привез с собой яблоневого саженца для сада, полученные им в подарок от одного капрала — бывшего садовника.

Ни дома, ни сада Аарон Кан не обнаружил — все погибло и сгорело в очередном налете гитлеровской авиации. Исчезло все, к чему Аарон шел так долго...

Он выбросил яблоневые саженцы и вернулся в Лондон, в штаб «Ассоциации», в здание бывшего театра «Друри Лайн». Оттуда он созвонился с нами и на следующий день мы летели на тяжелом бомбардировщике «Ланкастр» в Шотландию, в графство Карнарвоншир, где в порту Пфлели стоял большой военный корабль «Глендовер», на котором нам предстояло выступить.

На борту «Глендовера» собралась местная родовая знать, командование базы, несколько журналистов и парочка заправил из Лондона. После концерта, на банкете, куда пригласили и нас с Аароном, один из местных аристократов, тряся обвисшими склеротическими щечками,

произнес, сукин сын, бодренький спич, в котором похоронил немецкую армию и выиграл Вторую мировую войну. Офицеры мрачно смотрели в тарелки и багровели от ненависти к оратору.

Аарон Кан уже к тому времени успел как следует накачаться с журналистами и, не ожидая конца победного спича, предложил оратору заткнуться.

Аристократ был шокирован, а Аарон Кан заявил, что ничего более омерзительного он в своей жизни не слышал. Как смеет этот мышинный жеребчик болтать о том, что «война вступила в новую, еще более славную фазу...», когда фашисты стоят в двадцати пяти милях от Великобритании, когда ее города беззащитны перед воздушными нападениями с немецких аэродромов — более близких, чем оконечности ее собственных островов?! Он вспомнил свой Бриккет-Вуд и заплакал.

Наутро выяснилось, что абсолютно пьяный Аарон Кан вчера ночью потребовал от кого-то из лондонских заправил зачислить его немедленно в армию, в передовой десант на случай вторжения, и даже пытался продемонстрировать приемы джиу-джитсу командующему военно-морской базой адмиралу Мейнуорингу.

Шестого июня 1944 года, в 9 часов 43 минуты, на направлении «Суорд», возглавленном контр-адмиралом Тэлботом, под прикрытием орудий главного калибра линейных кораблей «Уорспайт» и «Ремиллис» командир пехотно-десантного отделения сержант Аарон Кан в составе

Второй английской армии высадился на песчаном пляже Северной Франции, неподалеку от Виллервиля.

Вода вскипала от разрывов, горели и разлетались в щепки десантные суда, сотни трупов английских моряков и солдат сталкивались в плещущем прибое, но Аарон Кан вышел из этой кутерьмы живым и здоровым. Прямо с ходу они ввязались в ожесточенный бой, и снова Кан остался жив и сберег все свое отделение.

— Вы талантливый человек, Кан,— сказал ему ночью тяжелораненый капитан Лоури.— Я все время следил за вами вчера. Вы держались молодцом...

— Это лишний раз подтверждает мою теорию, сэр, что талантливый человек должен быть талантлив и еще в чем-нибудь, о чем он может не знать всю жизнь. Важно, чтобы представился случай,— нахально ответил ему Аарон Кан.

— Чем это от вас несет? — поморщился капитан.

— Я вчера вел огонь, лежа в огромной луже мазута, и пропитался им, как старый паровоз. У меня все тело зудит от этого дерьма.

— Возьмите из моего мешка сменное обмундирование,— сказал капитан Лоури.— Боюсь, оно мне больше не понадобится.

И Аарон Кан переоделся в свеженькую офицерскую форму капитана, предварительно сняв с нее знаки различия.

Лоури к утру умер, а когда через неделю сержант Аарон Кан, контуженный и оглушенный,

был в бессознательном состоянии взят в плен, то его офицерская форма со споротыми нашивками вызвала у немцев только смех. Он посчитали его перетрусившим офицером и отправили в офицерский лагерь военнопленных в Польшу. А там, спустя еще пару месяцев, кто-то из своих сообщил лагерному начальству, что Аарон Кан — еврей. И немцы перевели Кана туда, где евреев сжигали. И сожгли...

Уже после войны мы с Маргарет приехали сюда в Польшу — чем черт не шутит, когда Бог спит? А вдруг Аарон жив? Вдруг мы его найдем?..

Год мы искали в Польше, а потом Маргарет простудилась и умерла. И я решил больше никогда не возвращаться в Англию. Так и остался жить на земле, в которой лежали мои партнеры — моя жена Маргарет и мой друг Аарон Кан...

Мы выпили еще по рюмке «Яржимбьяка» и, глядя в блекло-голубые глаза старого английского велофигуриста, я подумал, что мне не удастся дожить до восьмидесяти. Не дотянуть.

В ОЖИДАНИИ МИТИНГА...

В Лужниках, в ожидании начала митинга под девизом «День Победы порохом пропах...», два старика хоронились под трибуной тренировочного поля от холодного дождя и пили водку.

— Слушай, Матвеич... А это правду болтают, что Иисус Христос был еврей?

— Ты что, сдурел, Кинстинтин?!. Совсем крыша поехала?!. Русский он был, православный! Ну, надо же такое блямкнуть!.. Как язык-то повернулся, мутило старое! До седых волос дожил...

— О, Господи... Да, погоди ты, не лайся. Мне это еще когда один человек говорил...

— Небось, сам этот человек твой был из жидов, вот и говорил!

— Вообще-то, конечно, он был из этих... Из явреев. А только фамилие его и имя-очество были абсолютно наши, русские: Табачников Александр Михайлович.

— Правильно! Они завсегда за нашими спинами да именами — чтобы не прознали, кто они в сути своей!.. Нагребут, нагребут от нас, а потом нам же и пакостят!..

— Елки-моталки! Чего от тебя грести-то, голь перекатная? Тебе же пенсии на неделю не хватает! Кто тебе такую пенсию положил? Явреи, что ли? Наливай, шут гороховый... На-ко, вот луковку, закуси лучше. А то явреи, вишь ли, ему жисть заедают! Ты явреев этих хоть когда видел? Не разное говно собачье вроде наших, а настоящих явреев?

— А то нет! У меня сосед по квартире — чистокровный жидяра.

— Ну, и чо? Напьется, скандалит, рыло тебе по праздникам чистит? Или украдит у тебя чего?

— Ну, ты скажешь! Ничего он не крадит, ничего не скандалит. По воскресеньям маленькую приносит. Я огурца соленого выставлю, капуста... Мы с ним эту маленькую в кухне культурно раздавим...

— Чего ж ты явреев честишь в хвост и в гриву?! Он к тебе с маленькой, а ты...

— А я не его. Мой яврей — это мой яврей. Он со мной в коммуналке живет и мне уважение оказывает. А вот остальная жидовня разная, которая нашу Россию-матушку на куски продает...

— Кто?! Кто это Россию-то продает?! Чего ты мелешь, Матвейч! Да как же тебе не ай-ай-ай?! Наши, свои русаки и продают. Кому способней, те и торгуют!

— Правильно! Которые наверху, тоже суки хорошие! А только всех этих нерусских — что жидов, что татар, что армяшек там всяких — я лично на дух не перевариваю! Дай-ко я тебе добавлю маленько, Кинстинтин... Ну, будем здоровы!

— Какое уж теперь здоровье... Теперь и пить только для согрува. Ну, будь...

— Хлебца-то возьми...

— Не. У меня от него изжога страшная. Я лучше луковки... Я ее страсть как обожаю! С измальства. Помню, совсем еще пацаном был... В сорок четвертом сколько мне было? Вроде, восемнадцать уже. Я в БАО служил...

— Это чего такое?

— Батальон аэродромного обслуживания. При авиационной школе, где на летчиков учили. Так вот, мне капитан Табачников Александр Михайлович каждый раз говорил: «Костя...» Он меня завсегда «Костей» звал. Никогда по фамилии. «Костя,— говорит, — чего это от тебя всегда луком несет?» А я ему говорю: «Товарищ капитан, я его очень люблю и от этого никогда не болею».

— А он чо?

— А ни чо. Только «ну-ну» скажет и все. Он у нас начальником ПэДээС был. Парашютно-десантной службы.

— И ты чего, сам с парашютом прыгал, Кинстинтин?

— Бывало и прыгал. Я ж укладчиком был. А он всех укладчиков парашютов заставлял вместе

с курсантами прыгать. Чтобы мы на своей шкуре испытали в воздухе то, чего на земле делали. Дак с нами потом по укладке парашютов никто и сравниться не мог!

— Хорош гусь! Яврей — он и есть яврей. Вас прыгать заставлял, а сам на земле отсиживался.

— Зачем? У него тыща двести прыжков было. Он с чего хочешь прыгал — и с самолетов, и с аэростатов заграждения, и с фигур высшего пилотажа, и затыжными с больших высот, и с малых — самое страшное! Он был мужик — я тебе дам! Помню, раз курсанты-летуны прыгали свой ознакомительный прыжок с тыщи пятисот метров. На курсачей в самолете — смех глядеть! Пока идет набор высоты — все такие веселые, сам черт не брат! А как глянут на указатель высоты, так уже начиная с восьмисот метров скучать начинают. А как прибор покажет полторы тыщи — и вовсе печальные. Теперь у инструктора ПэДээС одна морока — вытолкать всех из самолета. Поэтому капитан Табачников Александр Михайлович завсегда в инструкторы подбирал таких бычков, что слона вытолкнут. Известное дело — летчики страсть не любят с парашютом прыгать... На эти прыжки собиралось все начальство школы. И сам начальник школы — Герой Советского Союза генерал-майор Приходько Иван Степанович. Курсант прыгнет, свернет парашют абы как, подойдет к генералу и доложит: «Так мол и так, курсант такой-то ознакомительный прыжок совершил!» Генерал ему руку пожмет и скажет: «Поздравляю

вас, товарищ курсант!» И начальник финчасти ему двадцатник тут же выплатит. А тогда это были, знаешь, какие деньги?! Ну, первая смена по холодку отпрыгала, начала прыгать вторая смена. И у одного курсантика парашют и не раскрылся!.. Он как мешок картошки с высоты в полтора километра так в землю и вошел. Главное, совсем недалеко от нас. А это же жуткое ЧэПэ!!! Врачи, «скорая», мы все подбежали... Смотреть страшно! Одна каша... Меня даже вырвало... А генерал как закричит с перепугу:

— Кто парашют укладывал?!!

Александр Михайлович, капитан Табачников, белый, как мел, тихо так нас спрашивает:

— Кто укладчик?

— Я...— говорю.— Я укладывал этот парашют.

— Там все было в порядке, Костя? — спрашивает капитан.

— Конечно, товарищ капитан...

А генерал стал красный, как отвар свекольный, и кричит на все летное поле, при всех курсантах, при всех службах, при всех офицерах, Александру Михайловичу капитану Табачникову:

— Табачников!!! Сволочь!.. Кончай там шептаться со своими выблядками!.. И прекрати немедленно эти жидовские штучки — отвечай, кто парашют укладывал?!!

У Александра Михайловича капитана Табачникова лицо прямо серое стало:

— Я собственноручно укладывал этот парашют.

— Ах, так?!! — кричит генерал.— Тогда надевай его и прыгай с ним сам!!!

— Разрешите сначала осмотреть парашют и переуложить? — спрашивает Александр Михайлович.

— Не разрешаю!!! Ты у меня, интеллигент сраный, не вывернешься! — орет сбесившийся генерал.— Приказываю!!!

Тут к генералу все бросились — и начальник учебно-летного отдела, и начальник штаба, и СМЕРШевец наш — кагебешник по-нынешнему: «Что вы, товарищ генерал?!! Нельзя без переукладки! Зачем вам еще один труп?.. Такой удар был, там, наверное, все размолотило!..»

А генералу с испугу вожжа под хвост:

— Никакой переукладки! Он этим парашютом мне курсанта погубил, пусть теперь сам испытывает, что такое неисправный парашют!!!

Ну, снял Александр Михайлович с мертвого курсантика этот парашют, надел на себя, застегнул подвесную систему, глянул так на меня и полез в самолет.

— Товарищ генерал!..— кричит начальник политотдела, забыл фамилию.— Что вы делаете?! Отмените сейчас же приказ!..

А генерал от страха совсем одурел — и на него матом. А тут уже и самолет на взлет пошел...

Он и пятисот метров не набрал, как видим— открывается фюзеляжная дверь — тогда с ЛИ-2 прыгали,— и оттуда вываливается Александр Михайлович капитан Табачников!..

Я лег на землю, глаза закрыл, голову обхватил руками, дышать не могу, икаю... Я-то хорошо знаю, что может случиться с парашютом от такого страшного удара об землю. И шпильки в люверсах могли загнуться — тут уж парашют точно никогда не раскроется! И вытяжной трос мог лопнуть, и... Да мало ли что?..

И вдруг слышу: «Ура-а-а!!!» Открываю глаза, а в небе, совсем рядом, раскрытый парашют!.. Я хочу встать с земли — не могу. Сил нет...

Приземляется Табачников Александр Михайлович, гасит купол, расстегивает подвесную систему и подходит ко мне. Поднимает меня с земли трясущимися руками и говорит мне так тихо-тихо:

— Спасибо, сынок.

А к нему тут со всех сторон! И первым бежит генерал Приходько Иван Степанович. Очухался — натурально плачет и кричит Табачникову:

— Саша!.. Прости меня!.. Сашок! Не обижайся!.. Ну, извини! Ну, перебздел я, себя не помнил! Ну, хочешь на колени встану?!

Он вообще-то был ничего мужик. Психованный малость, а так — ничего.

Но Табачников только посмотрел на него, как солдат на вошь, и так негромко сказал генералу:

— Пошел ты на хуй, козел вонючий.

А через неделю перевелся куда-то на Север, в пограничную авиацию. Потому что парашют был совершенно не при чем — я его сам укладывал. Этот бедный курсантик так перенервничал,

что как из самолета выпрыгнул, так сознание и потерял. Это нам потом доктор объяснил. Так что он даже смерти своей не ощутил... Вот. А ты, Матвеич, несешь без разборку всех по пням и кочкам. Тебе-то что — кто русский, кто нерусский? Тьфу!..

— Ну, ладно, Кинстинтин, бочку на меня катить. У нас чего, в пузыре ни хрена не осталось?

— Да, вроде всю докушали.

— Кинстинтин! А на кой нам хрен этот митинг? Чего мы на ём не слышали? Айда ко мне! У меня дома бутылка есть. Огурчики, капуста. А? Я тебя с соседом, с Лазарь Григорьичем познакомлю. Вместе выпьем... Айда?

СОЧИ — ВСЕ ДНИ И НОЧИ...

Сочи. Самый, что ни есть, пик курортного сезона...

«Сочи — все дни и ночи...», «Утомленное солнце нежно с морем прощалось...», «А море Черное, курорт и пляж — там жизнь привольная чарует нас...» И тому подобное марципановое воркование. И это несмотря ни на что — ни на опасных пареньков в кожаных курточках с каменными физиономиями, ни на юных финансистов в красных пиджаках с радиотелефонами во внешнем пиджачном кармане, ни на пистолетную стрельбу по вечерам, ни на взорванные и окровавленные «мерседесы» с остатками кожаных курточек и красных пиджачков...

И это потому, что пальмы и море, и южные сладкие вечера, и вся эта невыразимая прелесть, этот одуряющий гипноз юга — все на месте. Все, как было тогда, до того, что сейчас, все, как и положено тому быть.

И три категории отдыхающих — резко разграниченные, не общающиеся между собой и презирующие друг друга: «дикари» из частных сыроватых комнатенок на Бзугу, флиртующие в столовских очередях; «путевочники» — скованные санаторным режимом и регламентом постного, но постоянного питания; и самый роскошный класс — гостинично-ресторанный, драпированный в потрясающие махровые шкуры, втиснутый в белые джинсы.

По вечерам под открытым небом крутятся фильмы и, в отличие от отдыхающих, звездам предоставлено право смотреть их бесплатно.

По вечерам поют эстрадные знаменитости, живьем являются киноартисты и, доверительно понизив голос, рассказывают в микрофон о секретах и таинствах кино...

Каждому свое. Каждая категория проводит вечера по-своему.

А еще в Сочи работает цирк. Этакое римское ристалище, при котором все равны. Отчего бы? Может быть, оттого, что цирк круглый? Скорее всего, потому что круглый...

А может быть, оттого, что три класса, эти три столь различные категории, сидя вокруг арены в качестве зрителей, подсознательно ощущают в цирке присутствие четвертого, самого высшего. Ни на кого не похожего, недосягаемого класса. И на два часа циркового представления три класса невольно объединяются, теряют свою «классовость», и становятся единым уязвленным целым — Зрителем.

В Зрителе всегда есть что-то пассивное, созерцательное. Чуть-чуть унижительное сознание собственной неполноценности — всегда слегка огорчает. Даже когда ты — Благодарный Зритель, Тонкий Зритель, Умный Зритель... Особенно в Сочи...

С утра все классы наблюдают себя и друг друга почти голыми на пляжах. И если и витает над пляжем этакий легкий ветерок зависти, то касается он не обнаженных тел, а предметов, покрывающих эти тела. И это вполне понятно, вполне извинительно. Так было, есть и будет всегда. Во все времена это двигало прогресс.

Но вечером, в цирке, все классы становятся равны перед истинно прекрасными телами представителей четвертого класса — артистов цирка. И даже самые глупые понимают, что это не просто скульптурная красота неподвижного мраморного тела, а красота, дающая поразительные возможности этому телу. И бедного Зрителя ежесекундно ставят лицом к лицу с его собственными ничтожными биомеханическими возможностями. И даже самым умным не приходит в голову, сидя в цирке, подумать: «Ну и что? Зато я могу то, чего не может он...» И вспомнить что-нибудь невероятно ловкое из своей практики...

Поэтому в цирке не должно быть плохих номеров. Нельзя позволить Зрителю сказать: «Фу-у, мура какая!..» Если Зрителю это разрешить, он тут же сбросит с себя оцепенение и мгновенно обретет свою утраченную классо-

вость. Это вредно и ненужно. Он, Зритель, сразу же простит себе и мягкий живот, и покатые плечи, и еще чего доброго подумает, что его пост и жизненное назначение куда важнее и необходимее, чем должность вот этого жонглера, который только что на его зрительских глазах дважды уронил мячик...

Некоторые Зрители прямо-таки мечтают о таких маленьких срывчиках. Это вселяет в них спокойствие и сознание преувеличенной ценности своего существования.

Итак, в цирке идет представление.

— Воздушная гимнастка! Лиля Гуревич!!! — прокричал инспектор манежа и шагнул в сторону.

Он улыбнулся закрытому занавесу и сделал круглый нелепый жест рукой, как бы приглашая гимнастку на арену. Так считалось аристократично и красиво.

В седьмом ряду партера здоровенный мужик в малиновом пиджаке переспросил у соседа хриплым хмельным голосом:

— Как он сказал?.. «Лиля...» А дальше?

— «Гуревич»,— ответил сосед и криво ухмыльнулся.

— О, бля...— удивился хмельной мужик.— И сюда пролезли, сучье племя!

Заиграла музыка и узкий луч прожектора вывел из-за занавеса бледненькую девушку в сверкающих чашуйчатых трусиках и таком же лифчике. Лифчик был узенький и без бретелей. Просто каким-то чудом держался на ней этот лифчик. Наверное, каким-то цирковым чудом.

Луч прожектора проводил девушку до середины манежа. И когда зажегся весь свет, оказалось, что из-под купола уже свисает до самого ковра толстый морской канат. А самые пронизательные зрители увидели, что девушка совсем недавно приехала в этот цирк. Ее плечи, живот и бедра были обожжены солнцем и светились живым розовым цветом.

Девушка взялась руками за канат и медленно, скрестив вытянутые в струнку ноги, подтягиваясь только на одних руках, стала подниматься по канату вверх.

Когда она была на половине пути, зрители не выдержали и захопали. Ей так и хлопали, пока она не коснулась рукой маленького никелированного турника на самом верху. Она села на перекладину турника, подняла одну руку вверх и улыбнулась. И тогда ей опять захопали.

Кто-то из служителей оттянул канат к занавесу, и девушка стала исполнять свой номер. Без всякой страховки (зрители это отчетливо видели) она делала умопомрачительные «обрывы», повисала вниз головой, зацепившись за перекладину одними пальцами ног, крутила «большие обороты» (или, как больше нравится зрителям — «солнце»), стояла на голове посредине узенького турника, не держась ни за что руками... И во время каждого трюка цирк сладостно замирал, а потом облегченно аплодировал девушке.

Но самое удивительное было то, что на протяжении всего номера она не утратила ни на секунду мягкости, женского обаяния. Ни один

момент чудовищного мускульного напряжения не исказили ее лица — милого, доверчивого, незащищенного.

И женщины-зрительницы украдкой поглядывали на своих мужчин-зрителей, и во взглядах их была ежесекундная ревнивая обреченность, и они были правы, как почти всегда бывают правы и прозорливы женщины. Всех классов.

А мужчины и не скрывали своего отношения к этой девушке. Им хотелось чувствовать ее рядом, прятать лицо в ее маленькие ладони и, обняв ее плечи, молча сидеть с ней на пустынном ночном берегу...

И только один зритель из седьмого ряда партера — здоровенный полуныяный мужик в малиновом пиджаке — ничего такого не хотел и обиженно хрипел соседу прямо в ухо:

— Ну, ебть, неужто, бля, не могли русскую девку натаскать так же?! Обязательно нужно, чтоб «Гуревичи» всякие у нас над головой выкомаривали!.. Ну, бля, Россия-матушка... Куда люди смотрят?..

...Потом девушка встала ногами на турник, продела руку в ременную петлю и повисла на коротком куске стального троса. Турник мгновенно подтянули под самый купол, и девушка стала медленно раскручивать себя на одной руке.

Замолк оркестр. Девушка вращалась все быстрее и быстрее, и тело ее под воздействием какой-то особой цирковой физики перешло из вертикального вращения в тревожный горизонтальный полет...

Из сознания зрителей исчезла девушка-гимнастка (как ее там назвали с самого начала? «Гуревич» что ли?..). Этот бешеный, сверкающий круг под куполом, это дикое вращение ослепительного диска, в котором радиус был ростом растворившейся девушки-гимнастки — были явлениями иных миров, иных галактик!..

И вдруг что-то произошло. Что-то такое маленькое тряпочное вылетело из сверкающего круга и вяло трепыхаясь упало в оркестр.

Это видели все. Даже пьяный мужик в малиновом пиджаке из седьмого ряда партера. Сразу же вращение под куполом стало затихать. Нервно задвигались музыканты в оркестре. Засуетились служители в униформе.

Медленно переворачиваясь в лучах всех цирковых прожекторов, на высоте пятнадцати метров, продев руку в петлю троса, висела девушка-гимнастка. НА НЕЙ НЕ БЫЛО ЛИФЧИКА. Узенького лифчика из чашуйчатых блесток. Маленькие девичьи груди резко белели на обожженном теле.

Двухтысячный зал молчал. Он не просто молчал — стояла жуткая тишина.

— Канат,— негромко сказала девушка с фамилией «Гуревич».

Униформист метнулся к занавесу, отвязал канат и выбежал с ним на середину арены. Девушка взялась одной рукой за канат, высвободила другую руку из петли и медленно, на одних руках, стала спускаться вниз. Так, как она это делала каждый день.

Даже тогда, когда до ковра оставалось метра два—три, она не соскользнула, не спрыгнула. Спокойно, в беспощадном едином ритме она продолжала свой страшный спуск.

Когда ноги ее, наконец, коснулись ковра, она выпустила канат из рук и, даже не прикрыв грудь, глядя прямо перед собой, пошла через весь манеж к занавесу. Кто-то выскочил из-за кулис и накинул ей на плечи халат. Девушка благодарно наклонила голову и прошла за тяжелый цирковой плюшевый занавес.

И тогда цирк закричал! Цирк кричал и аплодировал! Цирк грохотал стульями и топал ногами!!!

Женщины гордо и открыто плакали, наплевав на всю косметику мира, а здоровенный протрезвевший мужик в малиновом пиджаке из седьмого ряда партера вскочил во весь рост и все пытался прокричать всем о живущих среди нас, среди нашей грязи и нашего свинства, существах высшего порядка, даже если они, бя, носят нерусские фамилии... Он еще хотел проорать что-то пьяно-возвышенное, но так как он, наверное, протрезвел не до самого конца, а может, привычки к возвышенному не было, то он, переполненный неведомыми ему доселе чувствами, только хрипло и бессвязно орал: «А-а-аа!..» и лупил огромным кулаком по спинке переднего кресла...

А за кулисами, в маленькой чистенькой гардеробной, насквозь пропахшей сладковатым запахом грима, у зеркала сидело «существо высшего порядка» по фамилии «Гуревич», и рыдало, рыдало, рыдало, обхватив голову маленькими жесткими ладонями с желтыми мозолями от трапеции...

ДЕЛОВОЙ ДУХ НОВОГО ВРЕМЕНИ

— Тэк-с... Слушаю вас внимательно.

— Вот хочу открывать свое маленькое дело... Телевизоры чинить, телефоны. Радиоприемники. Я, видите ли, в прошлом — инженер... И чтобы как-то продержаться... Словом, ДЕЛОВОЙ ДУХ НОВОГО ВРЕМЕНИ, знаете ли... Вот, я уже даже получил разрешение.

— Понятно. А как правильно пишется ваша фамилия?

— Зильберман Давид Самойлович.

— А в паспорте?

— И в паспорте так же.

— Покажите.

— Пожалуйста...

— Да... Действительно, «Зильберман Давид Самойлович». А почему же тогда здесь написано «Зильберган»?

— Может быть, просто опечатка?

— Ну, знаете ли! Как-никак, это официальный документ...

— Что же мне делать?

— Вернуться в то учреждение, которое давало вам эту бумагу и попросить их самих исправить в ней вашу фамилию. Но будь я на вашем месте, я бы с такой фамилией, как у вас, использовал бы деловой дух нового времени слегка иначе.

— Как?

— Я бы открыл свое дело ТАМ, а не ЗДЕСЬ. До свидания.

И несчастный Зильберман-Зильберган поплелся в то учреждение, которое выдало ему эту бумагу с искаленной фамилией. Как явствовало из ежедневной телевизионной рекламы — для этого учреждения не было ничего невозможного, ибо оно само олицетворяло ДЕЛОВОЙ ДУХ НОВОГО ВРЕМЕНИ!

Все начиналось еще при входе.

Для максимального удобства посетителей (деловой дух нового времени!) прямо в фойе приветливо расположился бронированный пункт обмена валюты, охраняемый двумя ОМОНовцами с короткими автоматами.

Дальше шли мелкие радости:

Дежурный вахтер не реагировал на вопросы посетителей, пока не получал доллар...

Справочное бюро, или как его теперь здесь называли — «Служба информации», откликалось лишь на два доллара...

Лифт приобретал способность к движению после того, как у лифтера появлялась конкретная материальная заинтересованность в виде пяти немецких марок.

Референты брали от десяти долларов за самую примитивную информацию... И лишь отвалив американский червонец, можно было узнать, что интересующий вас вопрос не относится к компетенции только что оплаченного вами господина и вам с новой десяткой следует обратиться к господину, сидящему за соседним столом...

Секретарши мужественно охраняли подступы к кабинетам своих шефов, беря с посетителей не больше двадцати долларов за право прохода из приемной в кабинет. За десять немецких марок или тридцать пять французских франков посетителю предоставлялся стул для наиболее комфортабельного ожидания своей очереди приема.

Из последних сил Давид Самойлович Зильберман заново оплатил начальные ступени иерархической лестницы, достиг стола референта и сказал:

— Не могли бы вы исправить эту опечатку в бумаге, которую вы же выдали мне неделю тому назад? Я — Зильберман... А здесь написано — «Зильберган»? Видите?

— Напишите заявление,— мило посоветовал референт.— Я сегодня же доложу начальнику.

— К начальнику-то зачем? Стоит ли беспокоить? Дело же ясное — простая опечатка...

— Конечно! — горячо согласился референт с Зильберманом.— Для меня дело совершенно

ясное. Я бы все это уладил в одну минуту. Но мой начальник — клинический идиот! Он обязательно прицепится...

На следующий день за тридцать пять долларов Зильберман был принят начальником и объяснил ему суть дела.

— Обычная невнимательность машинистки,— успокоил Зильбермана начальник.— Не стоит принимать это близко к сердцу, господин Зильберман...

— «Зильберман»...— поправил Давид Самойлович начальника.

— Да, да, конечно! — воскликнул начальник.— Директор это учтет. Я передам ему все, что вы мне рассказали.

— Директор?! — поразился Зильберман.— При чем тут директор. Обычная же опечатка...

— Да, да, да... — печально произнес начальник. — К сожалению, его не миновать, для меня ваше дело абсолютно ясное, но наш директор — такой кретин! Можете мне только посочувствовать...

На следующий день за пятьдесят долларов Давида Самойловича Зильбермана принял сам директор.

— Глупая история,— сказал он, выслушав рассказ Давида Самойловича. — Я все улажу. Надеюсь, что председатель не станет чинить препятствий.

— Председатель?!.— схватился за голову Зильберман.

Директор развел руками.

— Если бы это зависело от меня... Я вас прекрасно понимаю! Мелочь, опечатка, пустая формальность... Но председатель — слабоумный болван. Он может потом таких дров наломать, что у нас у всех головы полетят!.. До завтра, уважаемый Давид Самойлович! — и директор крепко пожал руку Зильберману.

На этом визите какие бы то ни было деньги были исчерпаны.

Зильберман одолжил у дворника своего дома сто долларов под двадцать пять процентов и отправился на прием к «слабоумному» председателю.

Оплатил, получил квитанцию, простоял в предбаннике всего минут сорок — на стул уже просто было не наскрести,— и вошел в кабинет председателя.

Председатель тут же своею рукой переправил букву «Г» на букву «М» обычной шариковой ручкой и возвратил документ Давиду Самойловичу.

— Господи! И всего-то?!.— поразился Зильберман.— А я-то... У кого я только из ваших не был?!

— Ничего не поделаешь,— вздохнул председатель.— Сами видите, в каких условиях я работаю. Все мои подчиненные — умственно неразвитые олигофрены. Какое-то скопище даунов! Шагу без меня сделать не могут...

Вечером, лепеча что-то невразумительное о ДЕЛОВОМ ДУХЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ, Зильберман все рассказал жене Асе.

Ася долго разглядывала исправленный документ, а потом подняла большие усталые глаза на Давида Самойловича и ласково сказала:

— Додик, любимый... Во всей этой истории, конечно, самый большой мудака — это ты! Почему ты сам не исправил эту ошибку, а разбазарил все деньги? Это во-первых. А во-вторых, если тебе так хочется использовать момент ДЕЛОВОГО ДУХА НОВОГО ВРЕМЕНИ, так почему ты за четверть века нашей совместной жизни не заметил, что в маленькой и тихой компании — я увядаю, а в большой и шумной — расцветаю и чувствую себя на двадцать лет моложе?..

— Что ты хочешь этим сказать? — насторожился Давид Самойлович.

— О, боже!.. — Ася вздохнула и посмотрела на потолок. — Ты почти безнадежен. Но я сделаю еще одну, последнюю попытку. Как по-твоему, сколько евреев осталось в России?

— Наверное, чуть больше миллиона,— пожал плечами Давид Самойлович.

— А сколько их живет в Израиле?

— Пять миллионов.

— Правильно! — воскликнула Ася.— Bravo!.. Так где компания больше, а? Я тебе спрашиваю, Додик?!!

Сегодня в Тель-Авиве, у самой автобусной станции, которая на иврите называется «Тахана-мерказит», у Давида Самойловича небольшая собственная мастерская-клетушка с гордой вывеской: «Давид Зильберман — дипломированный инженер из Санкт-Петербурга. Ремонт телевизоров всех систем!!!»

Так как Зильберманы здесь еще совсем недавно, то Ася пока что помолодела всего на десять лет.

Но этого оказалось вполне достаточным, чтобы она смогла начать бурную светскую жизнь в своем квартале, а все мужчины до шестидесяти — и евреи-ортодоксы, и не бог весть как верующие, и арабы, и даже эфиопы, оказавшиеся тоже евреями, только черного цвета, оглядывались Асе вослед, закатывали глаза и сладострастно цокали языком...

Точно так же, как двадцать лет назад это делали молодые грузины на сочинской набережной...

ЛОМБАРД

Все течет, все изменяется.

Только ломбарды остаются прежними. Ничего на них не действует: ни времена года, ни смены вех, ни крушения религий. Ничего!..

Особенно крепки те отделы, где берут в заклад золото, а выплачивают цену меди...

Только что из кладовых «выкупа» в закладную очередь вернулись три человека — миловидная женщина лет тридцати пяти в белом шерстяном платке, старуха в мужском пальто с шалевым воротником, и очень старый небритый еврей с провалившимся ртом и слезящимися глазами.

Старый еврей молча потряс над ухом спичечным коробком. Убедившись, что коробок издает знакомый ему звук, он опускает руку с коробком в карман порыжевшего от времени пальто...

Старуха с шалевым воротником удивленными детскими глазами ласково рассматривает толстое некрасивое золотое кольцо. Так на коротких тюремных свиданиях разглядывают осужденных родственников. Радость свидания разбивается о суровую необходимость разлуки, но все же радость — есть радость, какой бы маленькой она ни была...

И старуха медленно и радостно оглядывает свое кольцо со всех сторон.

Женщина в белом платке — аристократка ломбарда. Высший свет перезакладчиков. Для нее каждый перезаклад — ее триумф, ее бенефис. Зримое признание ее славы.

Она перезакладывает великолепные старинные карманные золотые часы. Несколько золотых крышек с паутинным рисунком и медалями, нескончаемое количество рубинов под этими крышками и прекрасный замшевый чехольчик, в который женщина опускает часы, получив их из кладовой выкупа.

И женщину, и ее часы в ломбарде знают, и гранитные приемщицы предлагают женщине самой назвать сумму залога. Очередь смотрит на женщину с уважением и завистью.

• Правда, пройдет еще тридцать—сорок минут, наступит заледневшая очередь этой женщины и ее часы — гордость нескольких поколений, — снова уйдут в ломбардные склепы на четыре месяца: три официальных и один льготный...

Эта женщина уйдет домой, раздаст деньги, взятые для перезалога, и три официальных ме-

сяца будет жить радостно и спокойно. А четвертый месяц — льготный, измучается, собирая на один день рубли для своего очередного бенефиса. Льготный месяц — самый трудный.

Старый еврей с коробочкой в кармане, старуха с кольцом и женщина с часами стоят в длинной очереди вместе. Они уже сродни друг другу, как и должны быть сродни все люди, неожиданно ставшие нищими...

— Ты ж смотри, какие часы!.. — восхищенно говорит старуха женщине в платке, и поигрывает своим толстым обручальным кольцом, надетым на темный сморщенный безымянный палец.

— От деда,— достойно говорит женщина и нажимает на кнопку в рементуаре. Она придерживает ладонью верхнюю крышку и дает всем посмотреть вторую крышку с медалями.— Я их всю жизнь помню...

Старый еврей стоит спиной к движению очереди, лицом к старухе и женщине с часами. Он вытирает слезящиеся глаза и говорит без всякого желания завладеть разговором:

— Хорошие часы. Когда-то у меня тоже были такие...

Ему верят. В ломбарде всем всегда верят. Мало ли... В жизни все бывает.

— Когда в тридцать восьмом за мной пришли, они лежали на столе, — старому еврею трудно говорить. Еще труднее его понять. Но его понимают, потому что слушают внимательно и добро. — Вы такой-то? Я такой-то. Одной рукой

он взял меня, другой рукой он взял часы... И вот, пожалуйста!..

Старый еврей рассмеялся и снова вытер слезящиеся глаза.

— И вот, пожалуйста! — весело повторил он.— Я — есть, часов — нету! Так что лучше, я вас спрашиваю?!

— Следующий! — крикнуло окошко приема.

Старик засуетился, повернулся лицом к окну заклада и вытащил из кармана руку со спичечным коробком. Трясущимися пальцами он раздвинул коробок и выскреб оттуда полукруглый золотой мост своей вставной челюсти.

— Счас, счас... — забормотал он и стал вытряхивать из коробка маленькие, нелепые, плоские кусочки золота — обломки большого протеза.

Усталая приемщица брезгливо прицелилась лупой в золотой стариковский протез и покраснела от возмущения:

— Эт-т-то еще что такое?! — крикнула она и бросила протез к рукам старика.

— Что?.. Что такое?..— испуганно засуетился старый еврей и стал шарить по прилавку в поисках самого маленького кусочка.

— Там же зуб не выковырнутый!..— зло крикнула оценщица из окошка.— Приносят сюда всякую гадость!!!

Старик нашел самый маленький кусочек и тихо сказал:

— У меня же каждый раз брали... И вы брали...

— Я не слышу, чего вы там болтаете! — опять злобно крикнула приемщица.— Сходите к зубному технику, вычистит, тогда и приходите! Следующий!..

— К технику...— прошамкал старый еврей и собрал свое золото в согнутую остренькую ладонь.— Дороже встанет...

— Ничего! Вы у нас — племя оборотистое!.. — прокричала приемщица.— На золотые зубы нашли, и на техника найдете! Следующий!..

...Разорвались последние родственные нити очереди и женщина с золотыми часами почему-то первая совершила предательство:

— Ну как не совестно! — сказала она, оттирая старого еврея от окошка приема.— Надо же?! Кому приятно такое в руки брать!..

Еще кто-то пытался защитить старика и монотонно бубнил знаменитую ломбардную фразу: «От хорошей жизни сюда не ходят...», но было уже поздно, и очередь двигалась, двигалась, постепенно протаптываясь к кассовому окошку, а затем дальше, к выходу, мимо очень старого небритого человека, который утирал рукавом слезящиеся глаза, укладывал маленькие плоские нелепые кусочки золота в спичечный коробок и горестно бормотал:

— К технику!.. Себе дороже... К технику...

СКОЛЬКО СТОИТ СЛОВО ПРАВДЫ?

Когда Семен Александрович Каганов (по паспорту — Самуил Аронович Коган) вернулся из туристической поездки по Израилю в свое любимое Зассыхино (бывший Леонидобрежневск), что посредине между Бобруйском и Жлобиным, он тут же решил организовать небольшую синагогу районного масштаба.

Он подсчитал, что из полутора тысяч жителей всего Зассыхино, плотность еврейского населения на каждый квадратный метр этого благословенного еврейского городка гораздо выше, чем где бы то ни было. А следовательно, Зассыхино просто обязано иметь синагогу. И Самуил Аронович... Пардон! Семен Александрович решил сам возглавить столь важное для любого еврея учреждение. То есть просто стать раввином этой синагоги.

Тем более, что из поездки по пыльной земле предков он привез картонную кипу, бесплатно раздаваемую всем мужчинам в Иерусалиме у «Стены плача», и медный семисвечник, купленный на арабской барахолке у какого-то черного, как сапог, эфиопа.

Отсутствие каких-либо специальных знаний в этой области Самуила Ароновича... Виноват... Семена Александровича совершенно не смущало. Пятьдесят три года, прожитые в условиях Советской власти, приучили его к тому, что руководящий работник и не обязан иметь какие-то там специфические знания. Он должен уметь «работать с людьми». И все! И «быть организатором»! И все! И «уметь подбирать нижестоящие кадры из преданных ему людей». И все!..

Конечно, он прекрасно знал, какие сволочи сидят в администрации его Зассыхино — с каждым из них Самуил Аронович... Тьфу, черт! Семен Александрович был хорошо знаком по своей прошлой трудовой деятельности, включая и недолгую службу в КаГеБе, куда в добрые андроповские времена, в сильно перенаселенных евреями местечках изредка брали на работу особо проверенных представителей этой странной и нежелательной национальности.

Правда, Самуил Аронович недолго проработал в этой могучей организации и спустя год был выперт оттуда с формулировкой — «за постоянное желание докопаться до истины». Выперт теми же самыми людьми, которые сегодня возглавляли городскую администрацию Зассыхино.

Поэтому, Коган... Или, если хотите, Коганов, понимал, что никто из его бывших сослуживцев не даст ему официального помещения под городскую синагогу. И он решил, что если из огромного сарая, стоящего в его дворе, вытащить разное барахло и привести сарай в порядок — лучшего помещения для синагоги не найти.

Когда-то дедушка Самуила Ароновича держал в этом сарае двадцать лошадей, имел собственный извоз, и умер, прямо скажем, не очень бедным человеком.

Сказано — сделано! Сарай был очищен и вскоре состоялось открытие первой частной засыхинской синагоги. Инициатор ее возникновения — Семен Александрович Коганов (по паспорту Самуил Аронович Коган), единственный из засыханских евреев, побывавший в Израиле, тут же был единогласно избран главой этой синагоги и, наконец, раз и навсегда вернулся к своим подлинным паспортным данным, в одну секунду став для всех раввином Самуилом Коганом.

— Евреи! — сказал Самуил Коган во вступительном слове.— Всего неделю назад я был на экскурсии в кнессете, в Иерусалиме. А потом, в гостинице, по телевизору смотрел заседание этого кнессета... Там все говорят друг другу в глаза только правду! Правду, правду, и ничего кроме правды!!! Некоторые на это обижаются и тогда в кнессете доходит, извините, даже до рукоприкладства...

— А у нас?!.— закричал учитель истории Фейгельман.— Этот умница, этот красавец —

Марк Горячев прямо в парламенте набил морду Жириновскому!.. Как вам это понравится?!. Ему даже антисемиты аплодировали!

— Кому? Жириновскому? — спросил водопроводчик Гуревич.

— Поц! Горячеву!!!

— Я прошу не выражаться и помнить, где вы находитесь,— сказал Самуил Коган.— Поэтому я призываю всех евреев отныне говорить только правду! Особенно в этих стенах...

— А если это кому-нибудь не понравится?— осторожно спросила фармацевт Фрида Лурье.

На первое собрание в обход правил были приглашены и женщины.

— А если кому-то что-то не понравится, так пусть он переменится, чтобы правда о нем звучала хорошо! — отрезал глава зассыхинской синагоги Самуил Коган. — Начнем с меня. Ну, неужели, например, моему старому товарищу, однокласснику и другу — Нолику Ширману так уж трудно перестать воровать у себя на складе райпотребсоюза, чтобы о нем перестали говорить, что он бандит с большой дороги?

— А ты видел?! — закричал Нолик. — Ты меня поймал, сука?!! Пасть порву!!!

— Ша! Ша, тебе говорят, Нолик... Пока ты мне пасть порвешь, я тебе глаз выниму,— миролюбиво пообещал глава синагоги.— Или вот, например, наша всеми уважаемая Любочка — бывшая Мильман, ныне Стороженко. Пока ее благоверный Костя спокойненько сидит себе третий год в лагерях на Воркуте, кто только здесь

не переспал с Любочкой? Кто только потом не бегал от нее в вендиспансер к присутствующему здесь доктору Соловейчику?

— Байстриук! Шейгиц!!! А ты со мной спал?! Ты — бегал?! — завизжала уважаемая Любочка.

— Таки тоже спал, таки тоже бегал, — честно признался Самуил Аронович, и тут же получил увесистую затрещину от своей жены Анечки. — Боже мой! За что, Анечка?! Я разве говорю, что это хорошо?!. Тихо, евреи!.. Ведите себя прилично...

Но воодушевленные государственными примерами честных и откровенных дебатов русского парламента и израильского кнессета, где все говорят друг другу в глаза правду, правду, и ничего кроме правды, зассыхинские евреи не ударили в грязь лицом. Каждый каждому припомнил все!

Поэтому, всеобщая генеральная драка, возникшая еще до того, как вся правда была исчерпана, стала абсолютно логическим, естественным и завершающим явлением.

По ходу драки доктор-венеролог Соловейчик и фармацевт Фрида Лурье героически оказывали медицинскую помощь особо пострадавшим.

Самодетельный и новоявленный раввин Самуил Коган бился за правду, как лев. Пока кто-то не шархнул его скамейкой по голове. Картонная кипа, держащаяся на остатках волос Самуила Ароновича при помощи двух специальных прищепок, удара не смягчила, и Самуил Коган отключился...

На следующий день упорный Самуил с заплывшим глазом и вспухшей верхней губой, торжественно повторил клятву отныне говорить всем людям только правду. И на вопрос жены: «Ну, как борщ?» — ответил не как всегда: «Превосходный, Анечка», а в своей новой манере, напоминающей заседания израильского кнессета и русского парламента:

— Отвратительный.

Борщ был и в самом деле неважнецкий, но жена ужасно обиделась и ушла из дому со словами:

— Можешь обедать у этой бляди Любки Стороженко!

И Самуил Аронович остался наедине со своей правдой. Но ненадолго.

Заехала тетя Рива — родная сестра покойной матери Самуила Ароновича. Тетя Рива унаследовала от дедушки все, что можно было унаследовать от очень состоятельного человека. Совсем недавно, подчиняясь велению времени, она перевела все ценности в доллары и торжественно сообщила Самуилу Ароновичу, что теперь он является единственным наследником этого состояния. В довершении всего, тетя Рива назвала какую-то совершенно невозможную по зассыхинским понятиям сумму! Кстати, она же дала Когану деньги на поездку в Израиль.

— Муля,— сказала тетя. — Что у тебя за вид? Я слышала, что у вас вчера были какие-то разборки в сарае? Не хочешь, можешь не отвечать. Я уже все равно все знаю! И вообще, не смотри на меня,

Муля, — кокетливо добавила восьмидесятилетняя тетя Рива. — Я сегодня ужасно выгляжу...

Еще до поездки в Израиль Самуил Аронович сказал бы немедленно:

— Что вы, тетя Ривочка?! Вы изумительно выглядите!..

Но сегодня Самуил Коган не стал лгать даже своей любимой тете.

— Да, тетя Рива, — сказал он. — Выглядите вы чудовищно. Но вы и всегда довольно гнусно выглядели, так что не волнуйтесь, сегодняшний день — не исключение.

Когда через полгода тетя Рива скончалась, оставив новое завещание в пользу какой-то дальней родственницы из Жмеринки, Самуил Аронович подсчитал, что каждое слово ПРАВДЫ, сказанное им тогда тете Риве, обошлось ему ровно в одну тысячу четыреста одиннадцать долларов и сорок семь центов США...

Содержание:

ПОВЕСТИ:

Мой дед, мой отец и я сам	5
Очень длинная неделя	89
Ты мне только пиши...	157
Это было недавно, это было давно... .	297

РАССКАЗЫ:

Шалаш	329
Партнеры	339
В ожидании митинга	347
Сочи — все дни и ночи...	355
Деловой дух нового времени	364
Ломбард	371
Сколько стоит слово: правды?	376

Кунин В. В.

“Это было недавно...”: Повести и рассказы. — СПб.: «Геликон Плюс», 1999. — 384 с.

ISBN 5-7559-0061-2

В эту книгу, продолжающую серию бестселлеров Владимира Кунина, вошли произведения разных лет. По некоторым из них сняты кинофильмы, другие же публикуются впервые.

Владимир Владимирович Кунин

“Это было недавно...”

Повести и рассказы

Корректор А. Полицеймако
Верстка Е. Мининой

Изд. лицензия № 065684 от 19.02.98 г.

Подписано в печать 10.11.99. Формат 84x108¹/₃₂.
Гарнитура Таймс. Печ. л. 24.
Тираж 20 000 экз. Заказ № 128.

Издательство «Геликон Плюс»,
191186, С.-Петербург, а/я 245.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГИПК «Лениздат» (типография им. Володарского)
Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 59.

ISBN 5-7559-0061-2 (06.08.01)

Кунин Это было недавно...



30766

50.00



В книгу известного писателя и кино-сценариста Владимира Кунина «Это было недавно...» вошли новые произведения автора, рассказывающие о людях цирка, эмигрантах, о любви, верности и мужестве.

Как всегда, повествования отличаются интересным сюжетом, живыми характерами и мягким юмором.